

Анна  
Матвеева

ПРИЗРАКИ

О  
Д  
Е  
Р  
Ы



ЛИМБУС ПРЕСС  
Санкт-Петербург

*Анна Матвеева*

ПРИЗРАКИ  
ОПЕРЫ



ЛИМБУС ПРЕСС  
Санкт-Петербург

УДК 821.161.1-32  
ББК 84 (2Рос-Рус)6  
КТК 610  
М 33

**Матвеева А.**

**М 33** Призраки оперы: Повести. – СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2015 – 220 с.

Пожалуй, со времен Сомерсета Моэма ни один писатель так глубоко не погружался в атмосферу театра, как погрузилась в нее Анна Матвеева. Повести «Взятие Бастилии» и «Найти Татьяну» насквозь пропитаны театральным духом. Но в отличие от Моэма театр Матвеевой – не драматическая сцена, а высокая опера. Блеск дивного таланта и восторг музыкального самозабвения сменяют здесь картины горечи оставленности, закулисных интриг и торжества амбиций. По существу «Призраки оперы» – развернутая шекспировская метафора жизни, порой звучащая хрустальной нотой, порой хрустящая битым стеклом будней.

ISBN 978-5-8370-0694-4

# ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ

*повесть*

## КАРТИНА ПЕРВАЯ

*Вечер. Предместье Фобур-Сент-Антуан.*

*Горожане спешат домой, позади – целый день, отданный чужим людям. Совсем скоро парижане смогут расслабиться, ведь их ждут вкусный ужин и приятный разговор с домочадцами. Одна за другой хлопают двери, зажигаются окна. Звучит радостный хор.*

*Только Марианне спешить некуда – у нее нет здесь знакомых. разве что портье из гостиницы, который поздравил ее с днем рождения, заполняя карточку приезжих.*

*Вчерашним утром девушка прилетела в Париж, чтобы встретить свой день рождения. Она хочет забыть о прошлом и найти счастливое будущее в городе любви и света. Тихо и ласково Марианна поет о своих надеждах, и ей вторит целый город...*

*(Париж может стать отдельным героем оперы. Баритон? Нет, лучше – хор.)*

Улица Фобур-Сент-Антуан – длинная, как опера «Жизнь и эпоха Иосифа Сталина». Вытекает

из площади Нации, где другая, бронзовая Марианна правит запряженными в коляску львами в окружении фигур Материнства, Правосудия, Детства и Освобожденного труда. У одной из фигур блестящие толстые ягодицы, вряд ли она Детство.

Из-за этих ягодиц Марианна и потеряла ритм, обронила его, как монетку. Загляделась, и опера исчезла. Ничего, вернется. Музу нужно держать на коротком поводке.

Эта привычка у Марианны уже давно – превращать реальность в оперу. Не в музыку, всего лишь в сюжет. Историю, написанную выверенным слогом завлита с музыковедческим образованием. В этих придуманных операх Марианна всегда – главная героиня. Прекрасная девушка, вокруг которой крутится действие. Первое, второе и третье, как блюда в столовой. Ариетта и каватина Марианны, зал встает, поклонников с букетами выстраивают в очередь, как первоклассников.

Реальную Марианну не пустят в героини, даже если она останется единственной женщиной на весь театр.

## КАРТИНА ПЕРВАЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

*...Как образ недостижимого счастья, мелькает впереди Июльская колонна – Марианна идет к ней, словно ведомая светом далекой звезды. Площадь Бастилии. От тюрьмы, когда-то наводящей ужас на весь Париж, уцелело одно лишь название...*

Надо было все же оставить Бастилию в нази-дание потомству, как англичане сохранили свой Тауэр, и с ним уцелели привидения маленьких принцев и черные вороны – такие блестящие, как будто их начистили сапожным кремом.

А здесь, в Париже, – кафельная ракушка оперного театра, и туристы вглядываются под ноги, чтобы разглядеть очертания некогда стоявших здесь суровых стен.

Опера, которую сочиняет Марианна, может называться «Взятие Бастилии». Она с детства знала наизусть все женские партии из «Онегина» и «Травиаты». Слух был такой точный, что от чужого фальшивого пения у девочки поднималась температура. В шесть лет папа отвел ее в музыкальную школу, ждал под дверью, пока прослушают.

Принимали вначале холодно, но когда Марианна начала петь – забежали. Сначала в один кабинет побежали, потом в другой. Явился руководитель хора – очень элегантный мужчина, и в конце концов приплыла директриса, старорежимная особа в длинном бархатном платье (если вести

пальцем против ворса, можно что-нибудь написать).

Ахали – какой слух, какой голос!

Все годы Марианна шла в музыкальной школе первой ученицей. То, что происходило в общеобразовательной, ее мало волновало – и сама она, и родители сразу поверили, что настоящая жизнь будет проходить вблизи от музыки. Она и в ансамбле солировала, с гастроями ездила в Чехословакию, Венгрию, даже в Австрии была! По тем временам Австрия – как сейчас Луна.

Лирико-драматическое сопрано, широкий диапазон, будущее размером с полмира – а потом умерла мама, и в тот же день пропал голос.

Возможно, голос был как-то связан с мамой, поэтому они ушли вместе.

Подружки в музыкалке злорадничали. Вторая по звездности солистка целый месяц просыпалась с улыбкой на лице. Но Марианна была оперной героиней по самой своей сути. Все авторитеты ее жизни – сумасшедшие (Эльвира, Марфа, Лючия ди Ламмермур) или самоубийцы (Дидона, Норма, Сента). У самоубийц – самые красивые партии.

Однажды вечером оставила папе безжалостную записку с цитатой: «Самоубийство входит в капитал человечества». (Даже сейчас стыдно вспомнить.) Потом надела куртку, перешла через дорогу – к шестнадцатietàжке. Рядом с магазином «Цветы» гремели досками скейтеры, Марианна всегда смотрела на них с ужасом, а сегодня



прошла мимо, ничего не чувствуя. Поднялась в лифте на шестнадцатый этаж, открыла дверь на общую лоджию. Люди внизу – маленькие и бессмысленные. В этом доме раньше проживали мамины друзья – и у них выпал кот из окна. Разбился, бедный, лежал внизу крошечным ковриком, потратил все свои девять жизней разом, как неумелый игрок. Друзья вскоре переехали отсюда – не из-за кота, конечно, просто так совпало.

Марианна представила, как через несколько минут будет лежать на месте несчастного зверя, как будет расплываться вокруг ее головы блестящая, красная, лаковая звезда... Подняла голову вверх, закинула ее так, что схватило шею, – и увидела дымное небо.

Год назад в хоре они пели песню против атомной войны, и там были такие слова:

Над землей бушуют травы,  
Облака плывут, как павы,  
А одно, вот то, что справа,  
Это я, это я, это я,  
И мне не надо славы...

Марианна зажмурилась, чтобы не плакать, потом открыла глаза – и вдруг уродливый городской задник превратился в прекрасную декорацию, а сама она стала героиней оперы, несчастной юной девушкой, за которой уже выехал со спасительной миссией лучший тенор региона. К третьему акту тенор будет ждать ее под окном, и они

исполнят для слушателей свой знаменитый дуэт.

На той лоджии с видом на помойку и трансформаторную будку с Марианной произошло истинное чудо. Если принять на веру, что тебе не надо славы, то можно прожить свою жизнь не без удовольствия.

А если повезет, то и не только свою.

Девятьсот девяносто девять жизней.

Она успела домой еще до папиного возвращения и разорвала предсмертную записку.

## КАРТИНА ВТОРАЯ

*На площади Бастилии гуляет уличная ярмарка. Блещат разноцветные машины, перед кассами стоят длинные очереди. Визжат беспечные горожане – их поднимают наверх в лифте, а потом коробка с людьми летит вниз стремительно, как нож гильотины. Позолоченный Гений свободы – голый, будто младенец, и со звездой во лбу, как Царевна Лебедь, – распростертými объятиями приветствует гостей площади. Под Гением – Июльская колонна, под колонной – пятьсот четыре тела, жертвы революции. Компанию жертвам составляют мумии, вывезенные Наполеоном из египетского похода и в суматохе похороненные здесь же. Мумиям и жертвам одинаково мешают спать «американские горки» – на первом круге ездки кричат, на втором молчат как мертвые. Марианна обходит ярмарку, сворачивая к зданию театра.*

Касса работала. От девушки за стеклом исходило такое мощное чувство превосходства, что оно проникало даже через толстое стекло. Будто бы его распылили, как освежитель воздуха. Не глядя на посетительницу, кассирша стучала по клавишам.

Марианна, может, и рассердилась бы на то, что ее в упор не видят, но это происходило с ней часто, и она привыкла. Не зря мечтала в детстве о шапке-невидимке – со временем она приросла к ней накрепко, как и недовольное выражение лица.

Бастилия напоминает скорее стадион, чем театр, но здесь правильный запах, точь-в-точь как дома. Точнее, на работе. Марианна считает своим домом театр, а дом – это место, где она спит и хранит одежду. После того как не стало папы – четыре года и три месяца назад, – дом стал еще и местом, откуда ей все время хочется уйти. Поэтому она приходит в театр самой первой, а уходит с гардеробщицами.

Марианна пишет... хотелось бы сказать «либретто», но нет – всего лишь тексты для театральных программ, которые зритель покупает перед спектаклем и заглядывает в них во время действия, чтобы понять, когда наконец, ради всего святого, будет антракт. Вернувшись домой, зритель не сразу решит, куда сбросить эту книжечку в багровой обложке, – выбросить жаль, ведь были потрачены деньги. Некоторые сохраняют ее «на память», что означает – программка будет сунута в кухонный стол, где хранятся кулинарные книги свекрови, до которых никак не дойдут руки, или же отправлена на самый верхний этаж книжных полок, где прячут от детей Камасутру и фильмы Гинто Брасса. Там же покрываются пылью, толстой, как слой крема на торте, открытки, проспекты из музеев и театральные программки былых времен.

Труд Марианны недолговечен, но в отличие от газеты он все-таки многоразового использования. Сюжеты опер и балетов не меняются, и задача «программиста» Марианны – донести смысл

произведения до зрителя, который живет, как ни крути, уже совсем в другом времени.

– Мадам? – кассирша настороженно смотрела на Марианну.

Возможно, она «мадамкала» уже давно – порой Марианна выпадала из нынешнего дня, не видела и не слышала ничего вокруг. Конечно, она извинилась перед кассиршей, и та одарила ее такой ясной улыбкой, что тут же была прощена за давешнюю неприветливость. К тому же – радостная весть! – кассирша объяснила, что есть хорошие места на «Пуритан» и Марианна сможет увидеть спектакль уже через несколько часов. Она будет сидеть в партере! Вместе с кассиршей выбрала место в среднем секторе, не самое дорогое, но и не дешевое. У себя в театре Марианна никогда не сидела на галерее – только партер, бенуар или балкон. Разумеется, она не претендовала на место в первых трех рядах партера – во-первых, это для богатых, а во-вторых, чем ближе к сцене, тем заметнее ошибки, без которых не обходятся даже самые лучшие артисты. Марианна старается не портить спектакль ни себе, ни тем, кто в нем играет. В родном театре она иногда пересаживается по ходу действия – в антракте занимает свободные места то в левой, то в правой ложах. Так она успевает увидеть и услышать спектакль с разных сторон и получить объемное впечатление. Режиссеры могли бы поинтересоваться мнением Марианны, потому что она не просто смотрит или слушает – она еще и размышляет над увиденным,

и пытается прочесть все смыслы, которые вложили в спектакль постановщики. Они работают именно для Марианны, точнее, для таких, как она. Но режиссеры никогда и ни о чем ее не спрашивают. Скорее всего, они даже не догадываются о том, что она делает в театре.

Марианна спрятала билет в сумочку – это довольно-таки потертая и совсем немодная сумочка, которую тем не менее можно считать театральной. Автор программки давно перестала покупать себе новые вещи и носит одни и те же костюмы десятилетиями. В театре молодые сотрудницы, глядя на Марианну, прыскают и толкают друг друга локтями, не забывая при этом вежливо здороваться.

## КАРТИНА ТРЕТЬЯ

*Марианна ищет скромный ресторанчик, чтобы отметить свой день рождения. Она видит счастливых людей на террасах – пары целуются, отпивают вино из бокалов, пробуют закуски. Париж – город любви, Марианна страдает от одиночества. Девушка проверяет, не выпал ли драгоценный билет из сумочки, а потом робко входит в бистро. Мы слышим приветственную песню шеф-повара, который радостно готовит фирменное блюдо. Ему вторит нетерпеливый хор голодных гостей.*

Главная героиня должна быть молодой, вот почему Марианна зовет себя девушкой, а вовсе не потому, что считает, будто бы она молодо выглядит. Все сорок четыре года лежат, как на тарелке. На тарелке, которую официант пронесет мимо с торжественным лицом, мирно соседствуют паштет и варенье. Марианна побаивалась французских изысков и скучала по обедам из театральной столовой. Пюре с котлеткой, салат «Аппетитный», компот из сухофруктов. В Париже ей хотелось попробовать лягушачьи лапки, но сказали, не сезон. Вчера она брала на обед луковый суп – дешево, пьяно, сытно. Расплавленный сыр и размокший хлеб.

Жаль, сегодня супом не обойдешься – все-таки день рождения. Те самые сорок четыре.

Марианна с детства привыкла ждать этот день – раньше он был самым любимым в году.

Вечером маленькая Марианна засыпала в своей обычной комнате, а рано утром просыпалась в другой – волшебной! Перед кроватью появлялся столик, проживавший в гостиной, а на нем красиво лежали подарки – мама работала в декорационном цехе и умела даже из самых рядовых вещей выкладывать элегантные композиции. Новенькая юбка свисала, как занавес, за ней прятались, кокетливо, как балерины, показывая ножки, вожделенные чешские фломастеры (двенадцать цветов), обязательная плитка шоколада от бабушки и книга от папы в еще темной комнате выглядели таинственными золотыми слитками... Марианна, не проснувшись до конца, пыталась угадать, что скрывается в маленькой коробочке (вот бы сережки наконец-то), и не могла больше уснуть. Разрушать «подарочный» стол не хотелось, и, наигравшись за день, Марианна пыталась пристроить пакеты и коробки на прежнее место, но мама успевала вернуть столик в гостиную, на ПМЖ. Марианна не печалилась – вечером за столом собирались гости, почему-то в детстве у них в доме было много людей. Потом все эти люди куда-то исчезли, как будто умерли вместе с мамой, но тогда их было так же много, как голубей во дворе дома. Голубей прикармливала старуха из восьмой квартиры – и когда Марианна однажды остановилась посреди двора поправить съехавший носочек, голуби вдруг пошли на нее в наступление. Надували шеи, страстно курлыкали, и глаза у них были оранжевые, как мандарины.



В день рождения маленькой Марианны гости веселились так, будто это был невесть какой праздник. Для детей устраивали конкурсы, самый любимый – срезание призов с бельевой веревки. Глаза всем по очереди завязывали шейным платком, от которого слабо пахло духами «Роша» (пробку от этих духов впоследствии выпросит у Марианны одноклассник – для уличной игры, в которой были невероятно сложные правила). Мама в платье с розами ловко направляла малолетних участников, страшно щелкавших ножницами, чтобы ребенок никого не покалечил, но и без подарочка не ушел. Папа снимал со стены гитару, вначале пела Марианна – женщины начинали плакать, а один маленький мальчик (уже не вспомнить чей) просил:

– Не пей больше, Марианна! Мне от этого грустно.

Марианна не настаивала – ей больше нравилось играть с подружками, чем петь для взрослых. Иногда она с девочками даже убегала на улицу, если погода позволяла. Тогда взрослые пели сами – особенно красиво получалось у толстеньких женщин, «потому что голос должен где-то жить», объясняла мама.

В детстве Марианна не задумывалась о том, где должен жить голос, – это была тема на вырост. Как, впрочем, и тема дня рождения, важного и самого любимого дня в году, который вдруг перестал быть и тем и другим. Какое-то там число в октябре никто не обязан помнить. К тому же сверху давным-давно прилетают не чудесные подарки,

а чугунные числа – сорок, сорок один, сорок два. Сегодня упали две четверки, похожие на тяжелые стулья.

Что касается голоса, то он живет между сердцем и горлом. Голос – такая же полноправная часть человека, как желчный пузырь, но без пузыря жить легче. Почти каждую ночь Марианне снится привычный и потому отчасти любимый кошмар – она стоит на сцене, а в зале – сотни внимательных лиц, как на групповом фотоснимке. Она раскрывает рот и в ужасе просыпается, тоже с раскрытым ртом, пересохшими губами. Тот редкий случай, когда можно порадоваться, что спишь одна и никто тебя такую не видит.

Сразу после школы Марианну взяли работать в театр – в память о маме, о ее «самоотверженном труде в декорационном цехе».

Папа сильно переменялся, хотя и уверял дочку, что все будет по-старому. Он был старше мамы на двадцать лет и привык думать, что уйдет первым, а получилось иначе. Раньше Марианна не осознавала, что отец немолод, а теперь этого не требовалось – к чему осознавать факты? В автобусе папе уступали место, в магазинах называли дедушкой.

Он пережил маму почти на тридцать лет, но после инсульта лежал дома четыре года в затуманенном сознании. Когда умер, соседи говорили: «Слава богу, отмучился», а Марианна все никак не могла привыкнуть к тому, что папы нет, – как будто вспоминала об этом заново каждое утро.

## КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

*Марианна открывает меню и читает описания блюд. Она плохо знает французский, и чтение требует от нее усилий. Хорошо бы от нее никто и ничего не требовал хотя бы раз в год – тем более усилий! Она раздраженно откладывает меню в сторону, и мужчина за соседним столиком делает то же самое. Глаза их встречаются.*

Мужчина за соседним столиком действительно присутствует, но в герои никак не годится. У него смятое, как черновик, лицо и неприятно яркие губы. К тому же он вовсе не спешит встречаться глазами с Марианной и с куда большим интересом разглядывает официанток. Странно, что на официантках после этих взглядов сохраняется одежда.

Претензии к меню тоже, к сожалению, реальны. В родном городе Марианна редко ходит по ресторанам – разве что с Альвой, единственной своей подругой. Обе любят ворчать, читая меню: нет, чтобы ясно сказать «говядина» или «семга», изобретают какие-то «подушки из трав», «фантазии», «дуэты»... Альва (она умеет отстаивать права потребителя) зовет официанта, требует объяснений, и он отвечает:

– Это, получается, говядина, она идет с овощами.

Или:

– Это, получается, свинина, она идет вместе с рисом.

«Идет» – любимый словесный паразит в сфере обслуживания. Его не прыскают дихлофосом, а, напротив, всячески лелеют, как дорогостоящего паука. Марианна представляет себе кровавый говяжий бок, идущий по пыльной дороге в жаркий день (рядом плетутся овощи). И заказывает неизбежную пиццу (она тоже «идет» – в компании с бесплатным молочным коктейлем, а вот это приятная новость! Жаль, что происходит не прямо сейчас).

Тем не менее Марианна видит кое-что общее у себя и неведомых ей составителей меню. Им тоже нужно успеть рассказать как можно больше посредством как можно меньшего количества слов. И слова эти должны быть изысканными и мелодрамчатыми, иначе публика не поймет, а посетители не закажут десерт.

Марианна наугад выбирает закуску, надеясь, что она окажется не слишком сырой, а еще все-таки заказывает луковый суп, потому что давно не верит своим надеждам. И на десерт – крем-карамель.

Мужчина за соседним столиком пьет из стакана бурю жидкость. Шея у него обмотана шарфом, как бинтом, сам смуглый, рябоватые щеки – в дырочку, как потолок салона в старой папиной «Волге».

Жаль, что здесь нет Альвы, подругиной уверенности обычно хватает на двоих. Альва преподает музыкальную литературу и не стесняется кричать в театре «Браво!» или аплодировать, пока весь зал еще только соображает, в голосе певец сегодня или нет.

Аплодируя, Альва кричит в ухо Марианне:

– Нижних нот у тенора, конечно, нет, зато берет эмоциями!

Или:

– Сопрано совсем немощная, но посмотри, какое точное попадание в образ!

Альва всегда находит, за что похвалить исполнителя. Она тоже не замужем, как и Марианна, но в прошлом у нее были романы, да и сейчас могут быть, если пожелает. Альва носит блузки с глубоким декольте, и груди у нее так притиснуты одна к другой, что получается галочка – как чайка на детском рисунке.

Марианна особенно полюбила Альву, после того как впервые побывала у нее дома, – оказалось, что подруга за всю жизнь не выбросила ни единой театральной программки. И на каждой указаны дата и ФИО человека, с которым Альва смотрела спектакль.

Вчера в родном театре давали «Травиату». Когда началось второе действие, самолет Марианны коснулся земли, и пассажиры аплодировали пилотам так же бурно, как зрители в театре – новому басу, который только-только ввелся на роль Жермона.

Русский пограничник, проверяя паспорт Марианны, сказал:

– С днем рождения!

– Он завтра, – поправила, вместо того чтобы поблагодарить. Слишком серьезно относилась к этой дате, двадцать какому-то октября.

Пограничник признался:

– У меня тоже завтра день рождения. Только год другой.

Щеки у него были румяные, на подбородке, как подснежник, пробивался прыщик. Конечно, он родился в другой год, даже календарь того года еще, наверное, не выцвел...

Принесли закуску – тарелка похожа на шляпу, на дне лежит что-то коричневое, посыпанное зернышками. Скорее всего, паштет, хотя кто знает.

– Это очень вкусно, – сказал мужчина за соседним столиком. – Пробуйте, не бойтесь!

– Я и не боюсь, – ответила Марианна.

Вилочкой подцепила коричневое и не глядя сунула в рот.

## КАРТИНА ПЯТАЯ

*Марианна и незнакомец пьют шампанское, сдвинув столики, – они влюблены друг в друга и готовы умереть за свою любовь. Быстро пустеет бистро, пары одна за другой выходят на улицу. Только Марианна и ее любимый – Эмиль? – никуда не спешат. Открываются двери, и в бистро врывается разъяренная толпа головорезов во главе с Жераром (лирико-драматический баритон). Это уличная банда, с которой в прошлом был связан Эмиль. Юноша давно оставил позади мир алчности и порока, но прошлое всегда напоминает о себе. Преступники окружают влюбленных, Эмиль пытается прикрыть Марианну своим телом.*

Между прочим, на вкус не так и плохо, но лучше не вдаваться в подробности, что это она такое съела. Почки? Мозги? Зобная железа телянка? Мужчина и не думал придвигать столики или заказывать шампанское – он все так же сидит на своем месте и тянет бурый напиток из стакана, скорей бы он у него закончился. Когда Марианна съела закуску, чем бы она ни была, Эмиль позволил себе ухмыльнуться.

И в зал никто не врвался – добавилась лишь парочка смущенных туристов. Они долго топтались при входе, пока официант не обратил наконец на них внимание и не усадил за самый плохой столик – у туалета. Туристы счастливы, оглядываются по сторонам и держат друг друга за руки, как будто намазанные клеем.

В театральных программках, в отличие от реальной жизни, нет ни капли вранья. Все и вся называются по имени – герои, чувства, поступки. Зависть, ревность, похоть, *жажда мести* – на сцене нет места притворству, никто и не думал играть. Жизнь с ее кривляньями и ложью могла бы взять у оперы пару уроков по части искренности и правдоподобия.

Если сказано «прошлое всегда напоминает о себе», значит, так оно и есть на самом деле.

Марианна не сразу привыкла к новой работе, к тому же ей пришлось еще и получать высшее образование – папа настаивал хотя бы на заочном. В театре начинала секретарем, потом уже с дипломом теоретика музыки (издевательское в его случае определение) перешла в литотдел, где сидели две опытные пожилые сотрудницы, такие корни пустили – не вырвешь! Только если вместе с землей. Марианна и не пыталась никого «выпалывать». Она робкая, скучная – таких в коллективе со временем начинают ценить. Была на подхвате, делала все, что скажут, а потом одна старая дама умерла (гроб выносили из театра, большая честь), вторая начала болеть... Постепенно Марианна стала работать за весь отдел, и хотя заведующая оставалась прежней, это была просто уступка возрасту и дань прожитой в стенах театра жизни. В конце концов и эта дама, конечно, упокоилась – гроб снова стоял в фойе театра, было много лилий, покойница предпочитала именно эти цветы. Марианна тоже положила в гроб ли-



лии – рыжие, с веснушками. Она не сомневалась, что станет начальницей отдела, – с годами в ней развилось какое-то странное тщеславие, саму ее удивлявшее: как если бы вдруг у нее выросла третья рука или нога. Это чувство было таким сильным и самостоятельным, что Марианна побаивалась его, как строгого начальника. Приходилось сдерживать раздражение, прятать возмущение, вообще вести себя не так, как раньше. Прежняя, невзрачная и робкая Марианна тоже никуда не делась, но из нее, как из скорлупы, готова была вылупиться новая – такую попробуйте не заметить! Порой она уже высовывала голову, как черепаха, но тут же прятала обратно, и перевоплощение откладывалось. Марианне не нравились эти перемены, но они, к сожалению, были неотменимы, как старение.

Когда Марианне объявили, что начальницей отдела назначили какую-то молодую женщину, ее ударило обидой, как током. Во рту стало горько, и горечь не исчезала даже после шоколада, запас которого лежал в верхнем ящике стола.

Новую начальницу звали Ирина, она была длинная, тонкая и просила, чтобы к ней обращались без отчества. Ирина взяла на работу двух девочек, а Марианне оставила только программки. Поначалу тщеславие подавало голос, пытаясь вытолкнуть Марианну за рамки картин и действий, но Ирина без отчества тут же ставила ее на место, и в конце концов стало понятно, что если рыпаться, то лишишься и программ. Потом заболел

папа – Марианна не знала, с кем его оставлять, когда уходишь на работу... Ирина сказала – можете выходить после обеда на два-три часа, я вас прикрою. Марианна кормила папу обедом, меняла ему памперс и убегала в театр, а вечером, возвращаясь, каждый раз боялась, вдруг он умер в то самое время, что ее не было. Он ведь был в сознании, хотя и немного перевернутом, и когда в его бедной голове все становилось на место, он просил дочь не уходить – ему было страшно умирать одному. Когда он умер, было утро, и Марианна варила суп. Заглянула в комнату проверить отца, а он кивнул ей и умер. Суп съели друзья родителей и родственники – они не слишком-то часто приезжали, когда отец лежал, но когда его не стало, все нашли возможность поддержать Марианну *в это нелегкое время*. В день похорон младшая сестра матери обещала посадить сирень на могиле – до сих пор сажает. Марианна недолюбливала тетку – она была слезливая и глупая, а лицом так напоминала маму, что было почему-то обидно. Хотя на что тут обижаться, если люди всего лишь продолжают жить?

Удивительно, что Марианну по-прежнему не увольняли из театра, ведь она так мало делала, ну что это – писать программки, даже с учетом премьер! В театре появилась «бегущая строка», тексты для которой тоже нужно было редактировать, а еще начали выпускать журнал, без конца делали какие-то интервью с приезжими звездами. Но Марианну никто не спешил нагружать новыми обязанностями, правда, и зарплату не повышали,

зато платили более-менее аккуратно. Она тратила мало – после смерти папы главные расходы на памперсы и лекарства исчезли, и зарплата скапливалась на карточке, пока не превратилась в такую, в общем, приличную сумму. Это было два года назад, тоже осенью – до дня рождения оставалось еще полтора месяца, а Марианну уже тянуло изнутри за душу от мысли, что придется пережить этот день.

– А ты за границу поезжай! – осенило Альву. – У тебя паспорт есть?

Паспорт был, в театре сделали всем сотрудникам. Но как ехать – без языка, без компании? И что она будет там делать?

– В театр пойдешь! – сказала Альва.

В турагентстве купили билеты и сделали визу. В позапрошлом году Марианна ездила в Милан (Ла Скала, «Анна Болейн»), в прошлом – в Лондон (Ковент-Гарден, «Милосердие Тита»), а сейчас вот – Париж, Бастилия, «Пуритане». До последнего сомневалась, сможет ли попасть на спектакль, – обычно (всего два раза и вот уже невероятное стало обычным!) она приходила за час до начала и ждала, когда в кассе начнут продавать билеты с ограниченной зоной видимости. А сегодня решила прийти раньше, и ей повезло. Партер, подумать только!

Марианна заглянула в сумочку – билет лежал на месте.

Принесли луковый суп, и Эмиль сказал:

– Приятного аппетита!

То, что он говорил по-русски, Марианну почему-то расстроило.

## КАРТИНА ШЕСТАЯ

*Жерар – возжак головорезов – хватает Марианну за руку и требует следовать за ним. Его подручные крепко держат Эмиля. Жерар выставляет свои условия: если Эмиль вернется в банду, Марианна вновь станет свободной и вернется на родину. Если же Эмиль не подчинится, ровно в полночь на площади Бастилии девушка умрет. Бандиты исчезают, увлекая за собой бесчувственную Марианну, а Эмиль остается один за пустым столом.*

О том, что у Марианны когда-то был голос, в театре никто не знал, да и сама она со временем забыла об этом. Только во сне все так же выходила на сцену – из года в год стояла перед залом и просыпалась за секунду до того, как нужно было вступать.

В реальности она стояла на сцене только в дни премьер, когда публика штурмовала гардероб, а люди театра поздравляли солистов – взмокших от пота и поэтому скользких, как маринованные маслята. Марианну бросало в такой же точно пот после «оперных снов». Тщеславие к тому времени превратилось в самый настоящий недуг – жаль, что от него нельзя было вылечиться таблетками или уколами. Чтобы усмирить этого зверя, Марианна вспомнила давнюю детскую привычку: когда ей было скучно, она начинала сочинять оперу. И не беда, что от реальной жизни в этих сочинениях, похожих на программки, почти ничего не

было и что музыка заимствовалась у Чайковского и Верди, главное – фантазии утешали Марианну и утихомиривали тщеславие. В мечтах она была главной героиней, ради которой мужчины дрались на дуэлях, убивали друг друга в сражениях, совершали подвиги и прекрасные безумства. В реальной жизни Марианна ни разу не имела дел с мужчинами, за исключением папы и коллег. Альва однажды попыталась свести ее с холостяком из филармонии («Он нашего круга!»), но от него пахло, как от мускусного волка в зоопарке, да и сам он Марианной не слишком-то заинтересовался. Она была совсем обычная, и многие коллеги, проработавшие с ней двадцать лет, не узнавали ее, встречая на улице. Такие лица штампуют миллионами, где-то есть одобренный образец.

Луковый суп был очень горячим, пусть немного остынет. Времени с запасом – до спектакля целых полтора часа.

«С днем рождения», – сказала себе и про себя Марианна.

Эмиль махнул рукой, и официантка принесла ему новый стакан бурой жидкости. Больше всего этот напиток походил на свекольный сок, но был, наверное, ликером.

Весь сегодняшний день, начиная с самого утра, Марианна вспоминала маму. Ей бы понравилась эта картинка – взрослая дочь в Париже, в двух шагах от одной из лучших оперных сцен мира. Наверное, гастроль? Или, быть может, дочь скрывается от поклонников, но один, особенно

настырный, по имени Эмиль, все-таки выследил ее в *роскошном ресторане?*

Похоже, кое-кто начинает сочинять следующую оперу, не завершив предыдущую.

Суп слегка остыл, но был душистым и пьяным, как и тот, вчерашний.

## КАРТИНА СЕДЬМАЯ

*Подельники Жерара силой удерживают прекрасную Марианну в злачном заведении на бульваре Бомарше. Несчастливая девушка пишет письмо возлюбленному – она просит, чтобы Эмиль не жертвовал собой ради нее и сохранил верность честному образу жизни. Появляется Луиза (меццо-сопрано), любовница Жерара. Спокойно и честно узница рассказывает о том, что произошло, – Луиза чувствует смятение. Она хочет покинуть банду и предлагает Марианне бежать. Марианна отказывается – она боится, что Жерар сведет счеты с Эмилем. Луиза уговаривает девушку, но та непреклонна. Скрепя сердце Луиза соглашается передать письмо Эмилю. Марианна остается одна.*

Если по улице идет сумасшедший, то из всех встречных он обязательно выберет Марианну. Ее лицо – штампованное и скучное – привлекает всех, у кого расстроена психика, контузия или просто несчастливая жизнь. В трамваях к Марианне прижимались извращенцы, на остановках приставали чудаки с нервным тиком, юродивые тянули за рукава, цыганки гадали целым хором. Еще ее любили дети, хотя Марианна не умела с ними общаться и страдала, когда к ней жались потные головенки соседских ребятишек. Дочь Ирины – такая же длинная и тонкая, как мать, хотя совсем ребенок, – не просто обнимала ее при встрече, но еще и с наслаждением обнюхивала, как собака. Марианна терпеть не могла любых

телесных контактов – даже когда Альва прихлопнула у нее на руке комара, это проявление заботы показалось ей неприятным. В самолете Марианна просила место у окна и не поворачивала голову к соседу, чтобы не видеть чужую кожу, волосы, ногти и не чувствовать запаха.

Голой ее видела только мама в детстве и еще некоторые врачи – после каждого такого обнажения, пусть даже частичного, Марианна чувствовала себя испачканной. Совсем маленькой, на пляже, Марианна отказывалась переодеваться, пока мама не окружала ее полотенцем, закрывая, как занавесом, от чужих взглядов. Телесная жизнь казалась ей утомительным делом – лучше уж быть главной героиней, страдать и вовремя погибнуть.

Альва много раз заводила с Марианной разговоры о любовниках, но она их не поддерживала, поэтому все сводилось в конце концов к работе и нижним нотам у тенора.

Принесли крем-карамель, похожую на сладкую запеканку с корочкой, которую маленькая Марианна ела в детском саду «Звездочка». Та запеканка лежала на противне, нарезанная квадратиками. Здесь ее подали в чашке – креманке, сказала бы мама.

Эмиль теперь уже и в самом деле не сводил глаз с Марианны, и это ей совсем не нравилось. Не зря она вдруг вспомнила про сумасшедших. Мужчины интересовали Марианну только как герои опер, носители голоса – им ни в коем случае не следовало покидать сцену, а точнее, мир



фантазий. Эмиль вдруг встал с места и оказался пузатым дядькой в грязноватых брюках. Марианна вскинула руку, изображая Альву в ресторане, когда та просила счет, но официант упрямо не видел ни вздернутой руки, ни самой Марианны. Большинство парижских официантов – слепые или избирательно зрячие.

– Уже уходите? – спросил Эмиль.

## КАРТИНА ВОСЬМАЯ

*Эмиль и Луиза бегут по ночному бульвару Бомарше. Луиза торопит юношу – им нужно успеть освободить Марианну, ведь разгневанный Жерар, скорее всего, уже догадался о предательстве своей подруги. Эмиль благодарит храбрую девушку, но сердце его полно печали: он понимает, что единственный способ спасти Марианну – это вернуться в банду. Сзади раздаются быстрые шаги, и незнакомец стреляет в Луизу. Эмиль пытается остановить его, но уже слишком поздно. Умирая, несчастная успеваешь прошептать номер дома, где удерживают Марианну. Потрясенный Эмиль передает убийцу с рук на руки прохожим и просит позаботиться о мертвом теле Луизы.*

«Свобода, что взлетела, ломая оковы и ярко сияя» – так сказано в путеводителе, который Марианна оставила в гостинице, о Гении свободы с Июльской колонны. Когда хочешь, чтобы время шло скорее, оно из вредности тянется бесконечно долго, и наоборот. До начала спектакля сорок пять минут, и каждая – с колонну. Марианне страшно оглянуться – кажется, Эмиль идет за ней следом, как убийца за солистами в восьмой картине. А он, конечно, идет, потому что все, у кого есть изъян, чувствуют в Марианне родственную душу и хотят немедленно слиться с ней – как минимум в беседе.

Эмиль еще ничего – его даже в приличные кафе пускают. Но усмехался он под конец праздничного ужина совсем неприятно – душевную хворь не

скроешь. Лицо гладкое и блестит, как у всех, кто пьет много сильных лекарств, а правая рука подтянута к груди, будто Эмиль защищается. Марианна ускоряет шаг и вспоминает молодого трубача, которого приняли в оркестр сразу после консерватории. Был таким же, как все, вытряхивал слюни из трубы, заигрывал с флейтисткой, а потом однажды пришел на репетицию в разных ботинках, и когда ему об этом сказали, рассердился. Что вы, говорит, обращаете внимание на такие никчемные вещи, когда мир доживает свои последние минуты? Так и пропал мальчик: лечили, но не вылечили. А вот Эмиля в Париже подлатали.

Марианна оглядывается, и Эмиль хихикает от радости, что она его заметила. Спасибо тебе, мироздание, за отличный подарок в день рождения! Психически нездоровый мужчина – именно то, о чем мечтает каждая сорокачетырёхлетняя барышня с большим тщеславием.

На месте Июльской колонны когда-то затеяли строить фонтан в виде слона, но потом строительство заглохло, и в слоне поселились крысы. Однажды они хлынули наружу не хуже водных струй – на радость жителям предместья. Марианна представляет себе неживого слона, нафаршированного живыми крысами, и съеденный обед внутри нее оживляется – готов вновь предстать перед желающими!

Ярмарка гуляет, очередь на «американские горки» совсем небольшая. Чтобы сбить с толку Эмиля – пусть думает, что она решила прокатиться, –

Марианна встает в эту очередь, а та – будто только и ждала, что русскую именинницу, – стремительно проходит вперед. Марианна платит за вход и вот уже сидит вместе с другими сумасшедшими в вагончике, а сверху на них опускается длинная широкая скоба и прижимает так, что не вылезти. Марианна видит, что Эмиль стоит в очереди на следующий заезд. Она успевает проверить билет в сумке, прежде чем вагончики трогаются с места и долго ползут куда-то вверх, чтобы рухнуть, как с отвесной скалы, – прямиком в ад, без лишних остановок. Весь мир вокруг Марианны кричит и воеет, а вагончики тем временем бросает из стороны в сторону, переворачивает и, кажется, вот-вот выкинет из Парижа прочь. Кто-то рядом с Марианной вопит восхитительным контральто редкой выдержки, и она не сразу понимает, что это – ее голос.

– Сильна верещать, – с уважением говорит ей на выходе сосед по вагончику, и Марианна не удивляется, что этот человек снова русский. Кому еще придет в голову кататься в Париже на «американских горках»?

Ноги дрожат, но идут, куда нужно, – к театру. До спектакля всего пятнадцать минут, а ведь обычно она приходит заранее – побродить по зданию, надышаться родным запахом.

Эмиль крутит петли рядом с Гением свободы.

## КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

*Разъяренный Жераф врывается в комнату, где держат Марианну. Он гневно объясняет ей, что Луизу только что убили по его приказу и что каждого предателя будет ждать подобная смерть. Марианна в отчаянии, она поражена жестокостью бандита и опасается за Эмиля. Девушка выхватывает пистолет у Жерафа и стреляет в себя. «Отпусти Эмиля», – молит она, умирая. Жераф отступает, не в силах скрыть свое удивление. На лестнице звучат шаги Эмиля.*

Внутри театр ничуть не лучше, чем снаружи, – похож на советский Дворец культуры, какие были в каждом районе. Или на стадион. Звонки здесь звучат, как церковные колокола. Продавец программok выглядит лучше любого артиста – он молодой, кудрявый и говорит зычным голосом. Марианна покупает книжечку «*I puritani*», завидуя бумаге, фотографиям и качеству печати. Такую программку не забросишь на верхнюю полку!

Еще один церковный колокол, время входить в зал – такой громадный, что Марианна пугается, не слишком ли далеко ее место от сцены.

В зале остается множество пустых мест и даже целых рядов, ведь заполнить подобную громадину сложно. Поэтому контролер (тоже красивый и молодой мужчина, хоть сейчас на сцену) говорит:

– Алез!

Он делает широкий приглашающий жест, и все небогатые зрители катятся волной поближе к

сцене. Марианна катится вместе со всеми, вот это действительно отличный подарок к дню рождения! Она останавливается на шестом ряду, справа подряд три пустых кресла, а дальше сидит древняя старуха в меховом палантине. В ушах сверкают бриллианты. Марианна догадывается, что старуха купила для себя сразу несколько билетов, чтобы никто не садился рядом, но ведь им сказали «Алези!». Сзади топчутся еще какие-то самозванцы, желая занять места, поэтому Марианна продвигается к старухе и садится с ней рядом.

Старуха с трудом – и, кажется, со скрипом – поворачивает к Марианне голову и улыбается неожиданно широкой улыбкой. Губы у нее накрашены алой помадой, и часть краски, конечно, досталась зубам. Но даже в таком виде зубы у старушенции куда лучше, чем у Марианны. И пахнет от нее дорогими духами – аромат тяжелый, как мокрое пальто.

«Раз улыбается, значит, не возражает», – думает Марианна и тоже робко растягивает губы. Тут гаснет свет, и дирижер единым взмахом, как будто включив невидимую кнопку, приводит в действие оркестр. Увертюра к «Пуританам» – бурная, нежная, и никакой надежды на то, что все кончится хорошо.

Марианна с ужасом ловит себя на том, что не может сосредоточиться на музыке. Хуже того, ей хочется выбежать из зала и попробовать что-нибудь спеть. Что-то совсем простое, незатейливое – не Беллини, конечно. И не Моцарта.

Когда она была пятнадцатилетней девочкой, то готова была умереть, лишь бы голос вернулся, но что с ним делать теперь? Не полезет же она на сцену, в сорок-то четыре года? В лучшем случае ее ждут тоскливые концерты в домах для престарелых, где обычно и подрабатывают списанные солистки. Еще можно петь на клиросе, или, может, все-таки возьмут в хор? Она согласна на хор!

Голос бурлил внутри, как будто впитывая все скопленные за время отсутствия силы.

И тут открылся занавес.

Марианна покосилась на старуху – та прижала к груди свои костлявые пальцы.

## КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

*Эмиль держит на руках умирающую Марианну. Она берет с него обещание не возвращаться в банду. Все тише и тише звучат слова прощания влюбленных. День рождения Марианны становится днем ее смерти. Появляется Жерар. Он ведет с собой роскошно одетую старуху, которая простигает к Марианне костлявые пальцы. Жерар молит Эмиля о прощении, жертва Марианны тронула его, растопив лед в его сердце. Теперь он хочет спасти девушку, и для этого привел знаменитую на весь Париж колдунью Атенаис – она умеет исцелять даже безнадежных больных. Эмиль недоверчиво уступает ей дорогу.*

Постановка модная, что означает – герои наряжены в относительно современные одежды, а действие разворачивается на практически пустой сцене. Но разве это важно? Эксперименты касаются света, декораций, костюмов, главное, чтобы никто не покушался на музыку и голоса. Эльвира – божественная, в другое время Марианна слушала бы ее не дыша, чтобы не испортить впечатление своим дыханием. Чувствовала бы, как легкие расправляются и становятся вот именно что легкими... Бедняжке Альве никогда не услышать такого пения. А тенор! Вот у кого были все ноты, включая нижние.

Слева от Марианны сидел мужчина, ничем, к счастью для всех, не примечательный. Разве что ноги слишком часто перекидывал – левую



поверх правой и обратно. Старая дама в мехах (Атенаис) крепко уснула в самом начале третьей сцены второго акта. Голова лежала на груди, как посторонний предмет. Унизанные перстнями костлявые пальцы подергивались в такт дыханию. От мехового палантина – норка или соболь, Марианна не разбиралась в мехах, так же как и в бриллиантах, – долетал неприятный запах, думать о происхождении которого было еще более неприятно.

Атенаис проспала арию божественной Эльвиры и пение заурядной Генриетты. Проспала хор – один из лучших на памяти Марианны. Старуху не могли разбудить литавры и тарелки, но лишь только наставало время мужских партий, она немедленно просыпалась и с широкой улыбкой смотрела на сцену. Ее тело умирало на глазах, но женщина, что жила внутри старой изношенной оболочки, ни на секунду не смыкала глаз.

Дуэт двух басов – Риккардо и Джорджо – звучал так мощно, что Атенаис от волнения прижала к губам пальцы, и кольца страшно звякнули о зубы. «*Suoni la tromba!*» – шептали морщинистые губы, как будто это был рок-концерт, где нужно петь вместе с солистом, который тычет в зал стойкой микрофона. Марианна осознала, что уже давным-давно смотрит на старуху, и лишь когда та начала хлопать и кричать тонким голосом: «Браво!», повернулась к сцене, где кланялись уставшие, насквозь мокрые от пота артисты.

«Может, она не спала?» – гадала Марианна в антракте, гуляя по фойе. Публика шумела, пила шампанское, курильщики брали у красавцев-администраторов билеты на выход. Марианна пошла вместе с ними. «Американские горки» все еще крутили петли над площадью. Хорошо бы с Эмилем не случилось ничего страшного.

«Что, если она просто так слушает – с закрытыми глазами?» – мысли Марианны вернулись к Атенаис, она даже о своем голосе едва не забыла – так поразила ее эта старуха. (Голос – словно конверт с долгожданным письмом: его так хочется открыть, что ты никак не можешь решиться и носишь конверт с собой целый день, поглаживая бумагу и пытаясь разглядеть сквозь нее чернильные строчки.) Когда Марианна была еще очень маленькой и глупой, папа водил ее на «Евгения Онегина». Он закрыл глаза, слушая Ленского, и Марианна дернула его за рукав – испугалась, что уснул. Папа тоже испугался, открыл глаза, там были слезы.

«Может, и старуха так слушает?» – приободрилась Марианна. Ей не хотелось, чтобы соседка проспала и второе действие, приходя в себя только при звуках мужских голосов.

## КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

*Атенаис водит руками над безжизненным телом Марианны, Эмиль стоит на коленях и молится. Жерар терзается муками совести. На улице внезапно раздаётся шум – это подельники Жерара. Они принесли добрую весть – Луизу успели спасти, рядом оказался доктор. Это счастливый знак! Жерар чувствует надежду. Атенаис вскрикивает и падает в изнеможении. Исцеление Марианны отняло все ее силы. Девушка приходит в себя. Эмиль, не веря своему счастью, склоняется над ней и поет свою знаменитую арию.*

Старуха и не думала покидать зал в антракте. Людям в таком возрасте (на вид ей было за девяносто) тяжело переходить с места на место. Она встречает Марианну приветливым взглядом и даже предлагает ей шоколадную конфету из бархатной коробочки. Марианна с удовольствием принимает угощение, с трудом сдерживаясь, чтобы не сказать, как маленькая девочка: «А у меня сегодня день рождения!» Ее французского хватает только на «мерси», но Атенаис и этого достаточно. Она тоже берет конфетку своими страшными пятнистыми пальцами и отправляет ее в рот. Шоколад восхитительный – как раскусишь, брызжет ликером, а внутри, как сердце Коцея, спрятана пьяная вишня.

«С днем рождения!» – думает счастливая Марианна. Атенаис достает из сумки – шанель или диор – плоскую фляжечку медного цвета.

И подмигивает Марианне, точь-в-точь как алкоголик дядя Сережа из третьего подъезда мигает своим собутыльникам. Белки́ глаз, как у молодой, – говорят, есть такие капли, убирающие желтизну и сосудистые жилки, похожие на кораллы.

Мужчина, который перекладывал ноги, все еще не явился, а остальным в зале нет никакого дела до двух дам в шестом ряду. Атенаис с удовольствием отхлебывает из фляжки и протягивает ее Марианне, обтерев горлышко платком с кружевами. Марианна неожиданно вспоминает свой давний и единственный визит к соседке, недавно ставшей матерью, – когда ребенок выплевывал пустышку, соседка поднимала ее с пола и облизывала, прежде чем снова сунуть в кричащий ротик малыша.

Она прогнала из мыслей соседку вместе с ее ребенком, выросшим, к слову сказать, в надменного юношу, и взяла у старухи фляжку. Она, брезгливая Марианна, которая в обычное время не может пожать другому человеку руку, сделала глоток из чужой фляжки, и в этот самый момент погас свет.

Что там было, ликер или коньяк, Марианна понять не в состоянии – она совершенно непьющий человек. В горле жжет, как от горчичника. Атенаис блаженно улыбается, из уголка ее рта стекает шоколадная струйка.

Марианна чувствует внутри огромное и нежное тепло, похожее на дерево с пышной кроной. В этот момент она любит весь мир – Париж, опе-

ру, Альву, Эмиля, «американские горки», любит даже Ирину без отчества. Она обожает эту чужую щедрую старуху, снова, к сожалению, уснувшую, возможно, потому, что по сцене бродит безумная Эльвира? Женские голоса усыпляют Атенаис, мужские вновь заставляют ее трепетать.

Слушать оперу, когда внутри тебя нежное и огромное дерево, похожее на облако, – вот истинное наслаждение. Посланец с письмом Кромвеля появляется на сцене в тот самый момент, когда Марианна чувствует, что не в силах удерживать свой голос, и он вот-вот сорвется с привязи, как сказочный конь.

## КАРТИНА ДВЕНАДЦАТАЯ

*Париж. Фобур-Сент-Антуан.*

*В уже знакомом нам бистро играют сразу две свадьбы. Эмиль женится на Марианне, а Жерар – на Луизе. Молодых развлекают лучшие танцовщики предместья. Атенаис сидит на почетном месте и пьет за здоровье молодых! Юноши исполняют танец с флажками, девушки – шоколадный танец. Наконец перед изумленными гостями предстает прекрасный юноша в странном костюме – его обнаженное тело покрыто золотой краской, а за спиной – крылья. Это Гений свободы. Он поздравляет влюбленных и обещает приглядывать за порядком в предместье. Ничто больше не нарушит счастья молодых!*

Опера-сериа со счастливым финалом встречается редко, но «Пуритане» – именно такой случай. Война закончилась, пленники помилованы, рас судок Эльвиры проясняется, как небо после грозы, и посланец Кромвеля успел вовремя, какой молодец! На поклон солисты выходят одновременно и держатся за руки, как дети. Эльвире вручают элегантный букет желтых роз. Марианна аплодирует вместе со всеми, но эти аплодисменты не только артистам, но и себе самой: чудом удержала голос на привязи!

Атенаис по-прежнему не проснулась, хотя шум в зале стоит такой, что разбудил бы мертвеца. Марианна сглатывает слюну, вдруг ставшую горькой. Старуха сидит, не двигаясь, на лице застыло

умиление. И шоколадная струйка засохла – похожа на пролитую кровь.

Кто-то рядом с Марианной опять кричит дивным контральто, и вновь она не сразу понимает, что это был ее голос.

– *La mort ideal*, – вздохнет один из полицейских, которых вызвали в театр. Глоток коньяка, конфета, мягкое кресло и опера со счастливым финалом. Только мечтать! Кто-то припомнил, что в Гарнье был подобный случай, но там скончался старый мсье, а тут – мадам.

Марианна плачет так бурно, что ее принимают за дочку покойной – правда выясняется в жандармерии с помощью переводчика.

– С днем рождения, – говорит переводчик, возвращая паспорт. – На вашем месте я бы сегодня хорошенько выпил.

Марианна вновь идет к площади Бастилии, где наконец утихли ярмарочные визги. Она сворачивает к Арсеналу, осторожно пробуя свой голос, как незнакомое блюдо.

Но попробовать нечего – голоса нет, он и не думал возвращаться.

Или, возможно, вернулся лишь на несколько часов. А может, ему был противопоказан коньяк?

Да что гадать.

Зато Марианне не нужно думать, что делать с этим подарком, она может жить свою прежнюю жизнь без голоса.

В следующем октябре планирует поездку в Вену. Может быть, и Альва сможет поехать –

вдвоем веселее. В детстве Марианна была в Вене с ансамблем, но почти ничего не помнит, кроме церкви с разноцветной черепицей и злого старика с зонтиком, которого они встретили на улице.

Баржи Арсенала похожи на обувь в прихожей аккуратной хозяйки.

А Гений свободы отсюда почти неразличим.

Всего лишь блестит что-то в небе – как звезда, которой никто не любит.



## КАРТИНА ПЕРВАЯ

*Париж, Арсенал.*

*Юная Марианна только что похоронила свою мать и в отчаянии бродит по равнодушному городу. Ей так одиноко, что она думает о самоубийстве, склоняется над водой и вдруг видит рядом со своим лицом еще чье-то отражение. Девушка испуганно вскрикивает, но незнакомец называет свое имя – Эмиль. Он тоже одинок, но теперь они встретились и будут счастливы, потому что полюбили друг друга. На баржах появляются люди (хор), каждый зажигает лампу – так Париж убеждает Марианну не бояться любви. Город света превращается в город любви. Марианна признается Эмилю, что сегодня – ее день рождения. Юноша вручает возлюбленной элегантный букет желтых роз.*

*Марианна счастлива.*

# НАЙТИ ТАТЬЯНУ

*повесть*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...Глубокие чувства похожи на порядочных женщин: они страшатся, что их разгадают, и проходят по жизни с опущенными глазами.

*Гюстав Флобер*

### Глава 1

#### ТРУБАДУР

Оставалось всего два дня из одиннадцати тысяч. Тридцать лет жизни покорно лежали у ног Согрина. Тридцать календарей с тщательно закрашенными числами. Согрин не перечеркивал их деликатно, крест-накрест, нет, он яростно скреб пером по каждому дню, пока тот не скрывался наконец под синим чернильным пятном. Согрин убивал дни в календаре так, будто они были живыми. На самом деле, разумеется, они были мертвыми, эти тридцать последних лет.

Обиженные календари кучей лежали на полу – парадные подвесные и маленькие карманные, дареные и купленные самочинно. Эти тридцать изуродованных календарей были весомым поводом гордиться собой. Он все же выстоял. Дождался. Он всегда умел ждать. И продержится эти последние два дня – самые длинные из всех.

Иногда Согрин думал о себе, как об арестанте, заключенном в тюрьму за единственную ошибку. К нему, будто бы арестанту, проявляли милость и доброту, он мог свободно передвигаться в пространстве и произвольно строить свою судьбу. Загвоздка была лишь в том, что Согрину все это было не нужно. Ни сейчас, ни тридцать лет назад.

Каждый перечеркнутый день Согрин думал о Татьяне. Им останется не так много времени, ему теперь под шестьдесят, Татьяна на два года старше – и неизвестно, что у нее со здоровьем, и непонятно, какой она теперь стала.

Согрин поежился, отгоняя неприятную мысль о том, что за эти годы Татьяна могла стать мертвой. Она обещала умереть еще тридцать лет назад. Говорила: «Жить я все равно не буду!» Согрин очень надеялся на Бога, с которым у него сложились неплохие, прямо скажем, отношения, что Он все эти годы внимательно наблюдал за Татьяной и что она благодаря высокому присмотру осталась живой. Согрин полагал, что Татьяна не слишком располнела, хотя, если честно, ему было все равно.

Картина важнее рамы.

Согрин повторил эту фразу вслух и почувствовал, как внутри зажигается радость, похожая на белые звездочки бенгальских огней. Два дня!

Он не пытался найти Татьяну раньше, чтобы не скостить ненароком срок. Ее следы скрывались в тридцатилетнем прошлом: тогда она обещала уехать из города, звонила Согрину, приез-

жала к нему в мастерскую – он бросал трубку, не открывал двери. По-другому было нельзя, но Татьяна этого не понимала. Искала его снова, уговаривала, умоляла и потом, отчаявшись, начала сдаваться, уходить, умирать...

Впервые они встретились в оперном театре, где Согрин навещал совсем другую даму – «Кровавую Мэри». Далекий от музыки художник (а Согрин тогда всерьез считал себя художником) услышал от друзей, что в буфете оперного театра вечерами продают коктейль из водки с томатным соком. Билет в оперу стоил в те годы рубль, коктейль обходился совсем в смешную, копеечную сумму. Дешевле, чем в кабаке, и закуску никто не навязывает. Походы в оперу вошли у Согрина в привычку, и в тот вечер он, как водится, не собирался входить в зал, откуда неслись торжествующие или в зависимости от того, кто и как слушает, печальные звуки увертюры. Художник тихо поглощал свою «Мэри», буфетчица Света строила ему глазки – скорее автоматически, нежели от всей души. Света была девушка видная, место в жизни нагрела себе теплое, а что Согрин? Деньгами не пахло, пиджачок сидел скверно, тянул линию плеч куда-то вверх, да еще и водку клиент хлестал с отчаянным удовольствием, какое Света часто видела в глазах родного папаши, алкоголика в третьем поколении. Согрин интересовал буфетчицу разве что в статистическом смысле – еще один мужчина пал жертвой ее красоты.

Визиты в буфет походили на признание – пара спектаклей, и позовет в кино, как пить дать. Света вздыхала, давала пить, Согрин тянул красную водку, разглядывая рисунок на линолеуме – тонкие черные линии, мутные голубые ромбы. В зале спорили скрипки и голоса. Затянутые в синие френчи контролерши с длинными свитками программ наперевес шагали по фойе, как декоративный караул.

Согрин не был готов к появлению Татьяны, но она все равно появилась. Не в буфете, правда, а на сцене. Хитровертая судьба плела косицу из людских жизней. Прялочка сюда, прялочка сюда, давай, внуча, ленточку. Лента наглаженная, атласная, пахнет раскаленным утюгом... Каждое утро, забирая волосы в хвост, Татьяна вспоминала бабушкину присказку.

Согрин вытряс в рот последние капли коктейля, проглотил кислую ледышку и уткнулся расслабленным взглядом в своего знакомого Потапова и его жену в красном платье. Красном, как коктейль. Встретаться с ними, вполне безобидными, кстати говоря, людьми, опоздавшими к началу спектакля, Согрину почему-то не захотелось, и он сбежал из буфета. Потапов сосредоточенно выбирал пирожные, красное платье сверлило взглядом Свету, а контролерша строго сказала Согрину:

– Мы после третьего не пускаем!

Согрин начал объяснять, что выпил всего два, но потом разобрался – контролерша имеет в виду

театральные звонки, от которых школьники, насильственно загнанные в культурную среду, покрываются привычной испариной. Спасла Согрина, как обычно, искренность. Он любого мог зарезать этой искренностью, как кинжалом.

– Там мой начальник, – искренне врал Согрин, – заметит, что я выпимши. Позор, осуждение трудового коллектива, выговор с занесением в личную карточку, лишат премии, дадут отпуск в ноябре. А если я в зале – все в порядке! Приобщаюсь к искусству...

Из-за угла вырулило красное платье с Потаповым. Потапов незаметно вытирал липкие пальцы о брючину, платье осмысляло прическу буфетчицы Светы.

– Он? – качнула головой контролерша. – Ладно уж, горемыка, заходи.

Добрая, открыла двери. Согрин бессмысленно разглядывал хор крестьянских девушек на сцене. И увидел Татьяну.

Оперный театр – целый город со своими улицами и домами, законами и правилами. Невидимый занавес крепостным рвом отсекает театр от города, так же как видимый – сцену от зрителей. Высокогорный замок готов к штурму. Ворота на запор, мост поднять, раскаленное масло приготовить!

Тридцать лет назад здание театра было выкрашено голубой краской. Согрину нравился старый наряд театра, новый казался ему слишком

блеклым. Словно бы театр поседел, как поседел сам Согрин. Словно бы он побледнел в декорациях новой жизни, что безжалостно перемешали в городе все краски: как будто рехнувшийся художник сложил небесный вивианит с орселяю неоновых вывесок, смешал бланфикс снега с грязной выхлопной сепией... Согрин давно не думал о себе, как о художнике, и только краски мучили его так же сильно, как в юности. Краски-демоны являлись без всякого желания, возникали не в осенней листве и небесах, а просто в воздухе, из пустоты. Дар, доставшийся Согрину, так и не превратился в талант, и к старости от него уцелели обрывки и лохмотья. Неровные полосы красок на ладони, подтекающая, плачущая палитра. Дар не радовал Согрина, а мучил его, как будто он носил груз, горб, тяжесть без всякой надежды однажды сбросить ее.

Согрин изменился, но еще сильнее изменился город. Крикливые машины – «раньше их столько не было», брюзжал Согрин. Яркие, разухабистые рекламы предлагали Согрину купить модную технику, открыть накопительный счет в банке и отправиться в тур к далеким островам. Согрин остановился в своем развитии потребителя.

Ему надо было найти Татьяну.



## Глава 2

### ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА

– Где же я найду вам Татьяну? – нервничал главный режиссер, мужчина выцветший и хмурый, с созвездиями мелких ссадин на лысине.

Главный дирижер Голубев с чувством болезненного наслаждения разглядывал эти ссадины, представляя, как коллега бьется головой об острые углы полок и разверстые дверцы шкафчиков. Разговор был бесполезным: Голубев все решил, спектакль никуда не годится, и надо срочно искать другую Татьяну. Новый сезон прекрасно показал, что Мартынова не вытягивает. Кроме того, Мартынова не нравится Леде, а это еще хуже. Спорить с Ледой дирижер не стал бы даже в том случае, если бы та вознамерилась поджечь театр. Неважно, что режиссер ярится, от него, будем откровенны, ничего не зависит. Голубев улыбнулся, не в силах оторвать взгляд от особенно заметной ссадины на режиссерской лысине.

Последняя привязанность дирижера, статная и кучерявая Леда Лебедь, была ведущим меццо-сопрано. «Золотое руно какое-то», – ворчала супруга дирижера, образованная и терпеливая Наталья Кирилловна. За долгое время жизни в театре Наталья Кирилловна свыклась с ее превратностями и воспринимала очередную влюбленность мужа с пониманием и даже некоторой радостью. Люди устают друг от друга, особенно в браке, а тут,

извините-подвиньтесь, речь идет об искусстве, где свежая кровь требуется в ежедневном режиме (будто на станции переливания), и переживания творца должны обновляться так же регулярно, как костюмы для спектаклей.

Очередная пассия дирижера была в глазах коллег не столько телом, сколько тельцом, жертвой, принесенной на алтарь искусства. Одна – за всех. И если жертве при этом удавалось устоять на ногах, да еще и получить себе новые привилегии и козырные партии, театр начинал уважать ее: молодец! Не просто романтическая свиристелка.

Леда Лебедь была молодец. Она ловко взяла маэстро в оборот, закрутила проводами своих кудряшек («Горгона прямо», – еще так ворчала Наталья Кирилловна) и стянула крепким узлом – не вырвешься. Маэстро зачарованно смотрел на Ледины спиральные локоны и думал, что ей не нужны парики. Только Любашу поет в чужой косе, кудри не ложатся в образ.

– Лебеди-голуби, птичник, прости Господи, – стонал главный режиссер по дороге к себе в кабинет. – Эта еще и Леда сразу, и Лебедь. Полный набор. Снесется, как пить дать!

Ему не стоило даже думать презрительно в адрес Леды: она же Наина, она же Гедвига, она же Кармен и четыре раза в год Церлина. Если бы Леда могла спеть Татьяну, она, будьте спокойны, спела бы. Некоторые певицы с легкостью отбрасывают приставку «меццо» и поют выше всяких границ и похвал, но вот Леде, к сожалению, таких выражей не исполнить. При малейшей попытке

замахнуться на недоступную партию она тут же начинала пропускать ноты, выпадала из тесситуры, злилась и... возвращалась к Любаше с Кармен. Что в принципе ничем не хуже Татьяны и Виолетты. Это Леда была устроена таким образом, что ей хотелось быть всем и сразу, а другие на ее месте вполне могли быть довольны.

Главный режиссер добрался до кабинета, обхватил руками свою раненую голову. Посмотрел по сторонам. Стол. Стул для посетителя. Две плохих дареных картины на стене. Пепельница в виде расплющенной лиры, высохший цветок в горшке, нервно гудящий монитор, окно с видом на площадь. За дверью – громкие рулады Мартыновой и топоток хора. Репетиция закончилась. Станет ли главному режиссеру легче, если он переберется в кабинет какого-нибудь другого театра?

Он закурил, и цветок на секунду скрылся в белом облачке дыма, а потом появился заново, как деревце в горящем лесу. Жизни в другом кабинете главный режиссер не представлял. Дело было даже не в том, что он так уж любил музыку или оперный театр. Дело было в том, что в другом кабинете тоже будут стол, стул для посетителя, две плохие дареные картины на стене... Так стоит ли рушить привычный мир, если на месте сноса почти сразу будет строиться такой же точно дом?

Главный режиссер бросил окурочек в цветочный горшок: в подражание великому поэту и на радость уборщице.

Ему надо было найти Татьяну.

## Глава 3

### ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ

Сорок лет без перерывов и выходных Евгения Ивановна была женой Согрина, и те же сорок лет (но уже с каникулярными паузами) она служила преподавателем русского языка и литературы в самой что ни на есть средней школе. Замечательный человек Евгения Ивановна, царствие, как говорится, небесное. Согрин всегда думал о жене с уважением и чувством выполненного долга. Порядочный человек и к тому же опытный педагог. Школьники ее, правда, не любили, звали Гиена Ивановна. Некоторые, из нахватанных, еще хуже придумали – Геенна Ивановна. Неблагодарные! Педагог за них в огонь и в воду (Геенна Огненная, Геенна Водная), а они...

За мужа своего Гиена Ивановна тоже была готова в огонь и в воду, но туда ее никто не посылал, а жить в тихом, убийственно ровном браке было непросто. Тяжело было, если совсем уж честно, ведь Гиена Ивановна со всеми и всюду старалась быть честной.

И жениться, кстати, придумала именно Гиена Ивановна, тогда ее, впрочем, звали Женечкой. Женечка считала, что если она не сделает шагов навстречу семейному счастью, то счастье обязательно собьется с пути и не найдет ее. Хилое, беспомощное счастье – да таким оно, в сущности, и получилось по итогам, так сказать, целой жизни.

Согрин не любил Женечку, но считал ее хорошей женой, незаменимой и надежной, как муштабель. Такой вот брак у них получился, дружелюбный, почти бесстрастный и совершенно бездетный. Евгения Ивановна (не будем больше звать ее Гиеней, она не заслужила этого. Что же до Царствия Небесного... Заслужила? Как узнать?)... Так вот, Евгения Ивановна не хотела рожать, потому что каждый день, за исключением каникулярных пауз, имела возможность лицезреть толпы различных детей. И редко какие дети ей нравились, да что скрывать, она вообще никаких не любила! В огонь и в воду – сиганула бы даже за распоследнего двоечника (точнее, за справедливость или идею), но любить – это уже не к ней.

Согрин из-за этого не слишком переживал. Он был старшим братом, после него мать родила еще двоих, и пеленки-распашонки-бутылочки-горшки вытравили в нем будущего отца едким коктейлем из мочи и манной каши. Переел, извините. Так что жили еще вполне молодые Согрины в согласии и спокойствии, как ветхозаветные супруги. Утром Согрин уходил в мастерскую, Евгения Ивановна – в школу. Вечером Согрин сидел у друзей или шел в театр выпить, Евгения Ивановна терпеливо хмурилась над тетрадками. Хорошая, в общем-то, жизнь. Ну, может, и не хорошая, но абсолютно нормальная. Не хуже других, гордо выпрямлялась Евгения Ивановна, когда в голову ей прилетали сомнения, похожие на дохленьких бабочек. Не хуже других, повторяла она –

и сомнения подышали окончательно. Им только волю дай...

Любовь казалась Согрину делом несерьезным, да так ведь оно, в сущности, и есть. Вот поэтому-то и не получилось из Согрина настоящего художника, хотя в юности он честно собирался заткнуть за пояс целый букет гениев, но без любви, как говорится, ничего не попишешь. Что можно написать без любви?

...Так часто бывает – у музыкантов, писателей, художников. Представлял себя великим артистом, а вместо этого уныло дрючишь в яме надоевшую скрипку. Грезил о полных залах, а теперь утешаешься мыслью о полных задницах. И каждый вечер измеряется в бутылках – так удобнее считать. Вот оно, подкралось, цап, и нет ни мечты, ни желаний, ни сил, ничего больше нет... Пустота.

Согрин не поверил бы, что сможет разлюбить жизнь и краски, но разлюбил вначале одно, а потом и другое. При нем оставалась выучка, и краски он видел все так же – да и сейчас видит, чтоб им пусто было... И когда не только все вокруг, но и сам Согрин наконец понял, что настоящего художника из него не выйдет, менять жизнь было уже поздно. Согрин привык думать о себе: «Я художник», и думать о себе: «Я никто» или «Я продавец колбасы», он не хотел и боялся, что в принципе почти всегда одно и то же.

Вот что стал делать Согрин, после того как от художника в нем уцелело одно только название.

Он начал рисовать афиши для кинотеатров. В те годы афиши размером 2,8 на 3 метра вывешивались у всех кинотеатров, и народ приходил на них глазеть специально. Сейчас такого, конечно, нет – у нас в городе только один кинотеатр по старинке рисует афиши к фильмам, все остальные давно перешли на баннеры. Согрин ненавидел как сами баннеры, так и это слово. И современные фильмы он не переносил, они были как пережеванный чужими зубами кусок мяса: никаких эмоций, кроме омерзения.

Тридцать лет назад Согрин обязательно смотрел каждый фильм, прежде чем приняться за афишу. И если его напарники запросто малевали землистые лица и неестественные позы даже самым любимым артистам, то Согрин делал свою работу иначе. Среди господствующей убогой палитры вдруг вспыхивали афиши Согрина: артисты получались у него, как живые, и некоторые люди даже плакали, когда очередную афишу смывали. Это они зря, ведь автор тем временем уже принимался за очередной шедевр.

Согрина мучили краски, будто злые духи с ласковыми голосами, они проникали ему под веки и застилали свет. Краски оставались на его афишах, как подпись в договоре о мировом несовершенстве. Так у неудачников-писателей рождается отличная строка – живая, но одинокая, захлебывающаяся в потоке банальностей. Так у скверного музыканта скрипка вдруг вспоминает о Паганини. Так посредственная певица, из тех, что

даже в хоре отмалчиваются, выдает вдруг отличную арию, но дома, для друзей. В караоке. Или вообще в ванной, когда никто не слышит. Горб таланта...

Согрин ненавидел краски, но знал, что без них еще хуже. В бесцветном мире останутся только Евгения Ивановна, зарытые глубоко в землю героические планы и коктейль «Кровавая Мэри» в буфете оперного театра.

Краска белая, с розовым сальным отблеском и прозрачной каплей в сердце. Краска желтая, огневая, тлеющая, злая. Черная краска с глубоким синим отзвуком, с дыханием вороных перьев и земляным смрадом подвала. Согрин мечтал, пусть краски уйдут в очередную афишу, превратятся в губы Елены Соловей, в рубашку Смоктуновского, и в гладкой прическе Ирины Купченко скользнет новый, яркий, живой цвет, и рука благородного Еременко засветится голубым, как на портретах Розальбы Каррьера...

Афиши Согрина – шедевры, доступные каждому. Хитрющий глаз Куравлева в «Афоне». Потрескавшееся от жары платье Кореневой. Ожившая катастрофа «Экипажа», на которую мальчишки ходили, как эстеты – к Джотто: на поклон, чуть не с молитвой. Афиши приклеивали прохожих, как те липкие листы для мух, которые висели в те годы в любом продуктовом магазине. Трупки мух становились тропиками, Согрин видел в каждой мушиной картине орнамент, сюжет, историю, но прежде всего – краски. Краска удушливо-желтая,



как отстоявшийся диурез. Краска прозрачная, серая – с паутинными разводами. Не крылья мух, а слюдяные оконца...

Раньше Согрин думал, что сможет исцелиться от недуга, но каждая новая зима приносила с собой новые краски. Он искал покоя, но стоило краскам исчезнуть всего лишь на день, как Согрин начинал беспокоиться – а вдруг не вернуться? В театре ему становилось легче, и не только от водки. Водка приносила покой, близость музыки дарила надежду.

...Он смотрел, как хор уходит со сцены и крестьянки оставляют Ларину с дочерьми. «Филипьевна, а ты вели им дать вина». Что они будут делать за сценой? Побегут в гримерку переодеваться? Когда выйдут снова, какими будут?

Согрин решил дождаться следующего действия – и увидеть Татьяну.

## Глава 4

### ДИТЯ И ВОЛШЕБСТВО

– Ты кого дожидаясь, девочка? – ведущая подозрительно смотрела на Валую.

Сразу видно, новенькая. Не знает, что Валя в театре – явление настолько же естественное, как, например, занавес. На помощь пришел Коля Костюченко в гриме Грязного. Борода у Коли своя, остальное приклеивается и раскрашивается.

– Да не волнуйтесь так, Валя на сцену не выпрыгнет!

– Пусть только попробует!

Воинственная оказалась новенькая, ну да ладно. Ведущие спектакля и должны быть такими. Валя заняла привычное место в правой кулисе, на скамеечке, у пульта. Она видела первые ряды зрителей на экране и понимала, как нервничает новенькая. Суфлерша кивнула Вале. Скоро придет хор, и все начнется.

– Валя, – шепнул Костюченко, – в антракте заряди телефон!

И сунул ей в руку мобильник.

Валя польщенно кивнула, оглянулась на новенькую – видела, нет? Новенькая сидела ровно, будто пересчитывала кнопки и тумблеры. Ничего, она тоже привыкнет. К Вале привыкают быстро.

...Валя, мелкая и носатая, как комарик, Валя, у которой никогда не бывает менструаций, Валя,

дочь той пьяницы с четвертого этажа... Обижайся не обижайся – все правда. Мать родила Валу по пьяному залету, молоко у нее было горьким, как водка. «На что ты мне сдалась, да еще больная!» – это Валя слышала от матери вместо колыбельных каждую ночь. Дети, они ведь у разных людей рождаются. Не только у хороших. Впрочем, мама не была плохой, она всего лишь крепко обиделась однажды на свою жизнь. Смолоду ей многое давалось, вот она и подумала, что так будет всегда.

Валина мама была фотографом в те времена, когда фотоаппаратами были одни только мужчины. Это и погубило ее – мужчины. И водка. Мать уходила в алкогольное болото медленно, до последнего высовывала голову, каждый день обещала себе – брошу, вернусь на работу, буду растить девочку! Научу фотографировать, ценить себя, как женщину. Каждый вечер заканчивался одинаково – темнеет за окном, темнеют глаза матери, она копошится в прихожей, шуршит пакетиками, роняет монеты. Чертыхается. Божится. Опять чертыхается. Потом дверь хлопает, Валя ищет, куда бы спрятаться. Пьяному фотографу лучше не попадаться ни на глаза, ни под руку.

В день, когда Вале исполнилось восемь, мать заявила в мастерскую к полужнакомому художнику. С фотоаппаратом, единственной непропитой своей ценностью. Накрасилась, хотела понравиться. Последняя попытка вырваться из беды. Художник открыл бутылку,

мать накачалась, уснула под абстрактной картиной, юбка задралась. Над матерью смеялись, ею брезговали: алкашня, синяя яма. Гости художника по очереди фотографировали мать ее же аппаратом, и когда она проявляла пленку с похмелья, то увидела только себя в каждом кадре. Спящую мутным сном, пьяную, мерзкую. Дочь – уродец. Мужики – предатели. Фотоаппарат – в окно, петлю на дверную ручку, голову – в петлю. Даже не выпила перед казнью. «Задавила-ся», – объяснила Вале тетка. Она, тетка, вначале хотела Валю в детдом, а потом осознала – пособие у племянницы лучше любой зарплаты. Соображала, считала, строила цифры на бумажке. То на Валю взглянет, то на бумажку, то внутрь себя. Там, внутри, когда-то было сердце.

...Расти Валя перестала лет в десять. Она и сейчас похожа скорее на ребенка, чем на женщину, хотя исполнилось уже двадцать четыре. Не лилипутка, но и не полноценный человек. Полукарла. Вначале люди смотрят на Валю напряженно, потом начинают ухмыляться, после этого побеждают в себе зеваку, давят раба, пытаются делать вид, что ничего такого. Подумаешь, маленькая, носатая, ни одной менструации, инвалид или просто – Валя.

Только Изольда смотрела на нее другими глазами. Она пришла к тетке, высчитывающей бонусы и минусы удочерения, сказала: забирайте себе половину пособия, а девочка останется со мной. Нам с ней хватит, потом я ее в театр пристрою:

– Валя, хочется тебе увидеть театр?

Никто так с ней никогда не говорил – бережно.

На самом деле звали Изольду иначе, но Валя считала, что у такой необычной дамы имя тоже должно быть особенным. Изольда хохотала, когда Валя поделилась с ней этой мыслью, но имя новое приняла без звука. Изольда так Изольда.

Жила она прямо под Вaley, в маленькой «двушке». Спала на диване-инвалиде – если бы он был человеком, присвоили бы первую группу. У Вали тоже первая. Когда тетка наконец согласилась оставить племянницу соседке, Изольда вычистила Валину квартиру и повесила в театре объявление «Сдается!». Вскоре сюда въехала пара балетных девиц. Деньги с балетных Изольда относила в сберкассу – собирала для Вали будущее.

На экране появился дирижер. Зрители не видят его лица, а за сценой все только на него и смотрят. Растаяли последние смешки, шепотки и покашливания. Оркестранты замерли, как перед пуском ракеты. Поплыли медленные волны занавеса...

Ребенком Валя говорила Изольде:

– Как хорошо, что вы поете в хоре, что не солистка!

На «ты» она обращаться не смела.

– Чего ж хорошего? – удивлялась Изольда. – Одна из многих.

– Зато живая, – объясняла Валя.

В хоре никто не погибает, все дружно уходят со сцены, и все. А солистки почти всегда заканчивают плохо. Виолетта из «Травиаты», обе Леоноры, Сента, Любаша, Кармен, Абигейль, Земфира, Аида, Мими... Целый хор покойниц. Каждый день умирать – что за жизнь такая? И даже если солистка останется в живых, ничего хорошего с ней все равно не произойдет. Татьяна расстанется с Онегиным, Марфа Собакина сходит с ума. Валя не хотела бы даже на сцене увидеть Изольдину смерть или страдание.

– Но в опере всегда так, – спорила Изольда. – Страсть и смерть, иначе – оперетта. Или обычная жизнь.

...Марфу сегодня пела Мартынова, пришла одновременно с мужским хором опричников. Все первое действие сидела рядом с Валею на скамеечке.

– Валь, посмотри, у меня глаз чешется, может, соринка?

Валя оттянула пальцем мартыновское веко.

– Никакой соринки, Людочка! Поморгай, все пройдет!

– Спасибо, Валя, что бы я без тебя делала?

– Тише! – шикнула ведущая. – Вы мешаєте артистам!

– Мы и сами, кажется, артисты, – надменно сказала Мартынова, поправила прическу и отправилась на сцену, подмигнув Валею тем самым глазом, который только что чесался.

А со сцены вернулась Любаша – Леда Лебедь.

Вот она ни за что не сядет рядом с Валею. Единственный человек в театре, который ее терпеть не может. У Вали замерзли руки от одного только имени: Ле-да. Но дело не только в имени. Изольда была доброй и теплой, хотя – *изо льда*.

– Чудесно поете сегодня! – сказала суфлерша Леде.

Валю сдуло со скамьи.

– Зато Мартынова ежика рождает, – отозвалась Лебедь. – Вы собираетесь что-нибудь с этим делать, Сергей Геннадьевич?

Главный режиссер, тихо стоявший в двух шагах от Вали, открыл было рот, но Леда, даже не взглянув на него, поплыла на сцену.

– Как мне быть, Валя? – спросил главреж.

– Не обращайтесь внимания. С Лебедью всегда так, вы же знаете.

Он рассеянно погладил Валю по короткостриженным волосам и пошел в артистический буфет за коньяком. В конце концов, кто здесь главный режиссер, он или какая-то солистка?

Выпьет рюмочку, а после антракта послушает спектакль из партера.

## Глава 5

### ЧТО ПРИЛИЧНО И ЧТО НЕПРИЛИЧНО В ТЕАТРЕ

Вначале Татьяна слышала и полюбила не пушкинского «Онегина», а *чайковского* и тщетно пыталась потом переставить впечатления согласно прописанной в школе хронологии. Вначале – роман, потом – опера. Не наоборот, Танечная! И вообще не воображай много, подумаешь, мама – артистка из погорелого театра. А у самой колготки драные!

Колготки Татьяна простить еще могла, но за театр вступалась горячо, со слезами. Она выросла за кулисами, «на театре», по выражению мамы, солистки вторых партий. Мама не родила Татьяну «на театре», между первым и вторым действием, исключительно благодаря тому, что девочке пришлось в голову появиться на свет глубокой ночью, когда нет уже никакого света и все спектакли заканчиваются.

Сейчас редко какой спектакль выползет за десять вечера, поэтому семейных проблем у артистов поубавилось. Мамина личная жизнь пострадала из-за поздних приходов домой – какому мужу понравится, если жена является после полуночи, не хуже Германа?

– «Орега» означает «труд»! – объясняла Татьяна мама, как все солистки, зная слегка по-итальянски. – Мы должны трудиться, не покладая рук, даже ночью!



Муж этого не понимал. Инженер, в семь вечера он уже сидел перед телевизором, в восемь – ужинал, в девять – начинал злиться, к десяти – приходил в драматическую, почти оперную ярость. Они развелись, когда Татьяне было девять.

...Мама – хрупкая, как дорогая чашка. Даже обнять со всей силы нельзя – вдруг погнешь ей ресницы ненароком? Или прическу испортишь? А Татьяне хотелось, иногда даже очень хотелось обычную маму, чтобы не бояться за ресницы и прическу. Чтобы мама ждала ее дома, как у всех девочек, а не в гримке, наряжаясь к очередному спектаклю.

Маленькая Татьяна смотрела, как маме одевают парик. Ей тоже давали коробочку с гримом, и девочка от скуки рисовала себе клоунское лицо. Мама взмахивала ресницами, улыбалась, бежала на сцену. Воздушный поцелуй наверняка придумали артистки – чтобы не испортить грим.

Романы, браки, рождения и смерти – все было в театре; искать своего счастья на стороне Татьяниной маме, как и другим артисткам, не было нужды. Брошенные жены оставались в театре, как и мужья-изменники, а их общие дети сидели в зале или за кулисами – иногда их выводили на сцену: в «Набукко», «Князе Игоре», «Трубадуре».

После развода Татьянина мама влюблялась, можно сказать, не сходя со сцены. Был гобоист из оркестра (продержался четыре месяца, сильно пил, как почти все духовые). Солист балета с роскошным прыжком (продержался полгода,

уехал в Москву – лучшие всегда уезжают). Артист хора (пять с половиной лет, мама сама его бросила, когда он начал ухлестывать за Татьяной). Татьяна знала, что в антрактах мама встречается с любовниками за сценой, есть там такое особое место, когда зал видно, а тебя нет. Лишний раз не поцелуешься – оба в гриме. Обниматься тоже трудно – тяжелые прически, костюмы. Видели бы зрители, сердилась Татьяна, как Ларина стоит, прижавшись к крестьянскому юноше, или как ключница Петровна обжимается с опричником...

Мама любила театр, любила себя, любила музыку – преданно, без сомнений и оглядки. Любить Татьяну ей было некогда. И когда тот самый артист хора обратил на дочь внимание, мама рассердилась:

– Надо заниматься учебной, а не думать о романчиках!

...Тогда в хор принимали с улицы, можно было даже нот не знать, лишь бы петь умел и фактуру имел подходящую. Это сейчас Голубев зверствует, требует брать одних только консерваторских, а раньше все было проще. Татьяну взяли после первого же прослушивания, а через год работы в хоре и летних гастролей она забеременела и родила девочку Олю. Мама пыталась Татьяну, чуть не под лупой разглядывая младенца, от кого? На кого похожа? К новому сезону Татьяна вновь была на сцене, а непонятно чья Оля оставалась дома с няней. Мама пела Ларину, ей уже после второго действия можно идти домой. Новый Гре-

мин завидовал за сценой – мне бы так! Татьяне этот Греммин нравился куда больше полненького Онегина. Когда толстячок выкатывался на сцену в последнем действии и, выпятив пузико, пел: «Позор, тоска, о, жалкий жребий мой!», народ за кулисами веселился: «Карлсон вернулся!» И Татьяна, не наша – Ларина, была в тот вечер не из лучших, голос еле пробивался сквозь оркестр.

После бала хористка первой убежала со сцены – ей надо было отпустить няню.

В последнем действии «Онегина» хор появляется лишь раз, на Гремминском балу. Согрин неприятно удивился, что кланяться вышли только солисты. А где же хор? Где та девушка?

Не дожидаясь последних поклонов, он выскочил из зала, позабыв и о Потапове с женой, и о доброй душе – контролерше.

– Где служебный вход? – спросил в гардеробе.

Сказали обойти театр справа, там будет крылечко и серая дверь. Согрин отплевывался от снежинок, закуривал, спешил. Он чувствовал – Татьяна где-то рядом. Правда, у нее пока не было имени.

## Глава 6

### СНАЧАЛА МУЗЫКА, ПОТОМ СЛОВА

– Пстой рядом, Валя, говорят, ты счастье приносишь, – шепнула Мартынова в антракте.

Ведущая свирепо закусила сигарету и вскочила с места. С ней нескоро кашу сварить, загрустила Валя – она дорожила тем, что ее любят в театре (Леда Лебедь не считается, она всю любовь мира желала бы иметь в своем частном пользовании – даже ту, что полагалась другим).

– Призрак оперы, – Коля Костюченко чмокнул Валью в макушку. – Батарейку зарядила? Умница.

Может быть, и новая выпускающая однажды поймет, что в театре без Вали не обойтись? Здание устоит, люстра не обрушится, и зрители придут, и занавес будет расходиться в стороны медленными волнами, но без Вали это будет уже совсем другой театр. Старожилы, из тех, кто с закрытыми глазами находит дорогу из цехов в буфет, даже они теперь не представляют, как театр обходился без Вали.

...За кулисы Изольда привела девочку не скоро, вначале долго отправляла в зал. Та все оперы переслушала не по разу, а балет посмотрела всего один – «Лебединое озеро». «Балет – это для девочек», – говорила Изольда, и Валя думала: «Я-то кто тогда?»

Ее не всегда пускали на вечерние спектакли, Изольда однажды не увидела Валью на обычном

месте в зале и перепугалась. В антракте прибежала в фойе. Контролерши оправдывались – контрамарку подает и молчит, мы ж не знали, что *твоя!*

Потом все привыкли, признали.

После спектакля Валя терпеливо ждала Изольду в гардеробе, матерчатая сумка с туфлями лежала на скамеечке аккуратным рулетом. Без туфель Изольда являться в театр не разрешала и платье велела надевать нарядное, с воротничком из нафталиновых кружев.

Изольда приходила, когда Валя уже почти засыпала на той скамеечке; к счастью, школа была во вторую смену. Если наставница вдруг видела тройку в дневнике, сразу лишала театра на неделю. Хуже наказания не было.

Они жили в двух кварталах от театра. Высокая Изольда подстраивалась под мелкий шаг Вали и в любую погоду – ветер, дождь, жару, снег – спрашивала:

– Как тебе?

Валя рассказывала. Слух у нее был точный, и любую фальшивую ноту она видела выкрашенной в другой цвет. Ария Марфы – красная, а фальшивая нота – зеленая. Режет взгляд и слух разом, выбивается из палитры-партитуры.

Изольда внимательно слушала девочку, иногда, наклоняясь к ней (Валя торопливо вбирала вкусный аромат рижских духов), уточняла:

– Ты сама это придумала? Или подсказал кто?

Кто бы, интересно, мог ей это подсказать? Многие «ценители искусства» с важным видом аплодируют посредственному пению и молчат, когда надо кричать «Браво!». Публика разучилась понимать оперу. Раньше не знать и не любить ее считалось неприличным. И вообще по истории оперы можно изучать мировую историю, говорила Изольда.

– Сталин любил «Бориса Годунова», – рассказывала она. – Гитлер – Вагнера.

– А Наполеон? – спрашивала Валя. Наполеон ей мучительно нравился.

Изольда объясняла, что Бонапарт был человеком военным и предпочитал армейскую музыку. Оперу скорее уважал, чем обожал, – Керубини, Гретри, Далеярак писали в его честь марши и победные песни.

Валя обижалась за Бонапарта и на него самого тоже сердилась – как можно променять оперу на военный марш? Она подыскивала другие аргументы для Бонапарта, пока Изольда в тишине разогревала поздний ужин. После спектакля она иногда молчала долгие часы.

Ночью Валя просыпалась от мелодий, рвущих и режущих сон. Услышанное в театре укладывалось в пазы, память добросовестно повторяла новые арии, внутри настраивался маленький оркестр. Когда этот оркестр молчал, девочке снилась другая жизнь – с мамой, без Изольды, вне театра. Липкий пот стекал по груди, Валя просыпалась в уютной Изольдиной квартире, ничем не

походившей на яркую пьяную ночь родного дома, где теперь крепко спали две балерины, даже во сне, как собаки, вздрагивающие ногами.

Валя забывала маму и ругала себя за это. Старалась, но не могла вырастить в себе любовь к покойнице. Зато любовь к Изольде росла без дополнительных стараний, как и чувство к музыке.

– Учить тебя надо, – сказала однажды Изольда. – Слух есть, интересно, что с голосом?

Свой старый «Этюд» Изольда настраивала каждый сезон, благодаря чему инструмент находился куда в лучшем состоянии, чем иной «Стейнвей», без присмотра обратившийся в мебель. Подруга Изольды, аккомпаниаторша с глубоко въевшимися ухватками красавицы, долго ахала и целовалась с хозяйкой, потом зашла в комнату. Валя долго не могла запеть, стеснялась...

– Ты же понимаешь, никуда ее не возьмут с такой фактурой, – шептала аккомпаниаторша, – пусть даже голос, диапазон...

– В хоре нужны всякие, – поморщилась Изольда, – тем более сейчас. Это в наше время на фигуру смотрели больше, чем в горло.

Подруга захихикала, потом прослезилась.

– У Вали все еще впереди, – пояснила она.

Первым спектаклем, который Валя услышала за сценой, стал «Евгений Онегин». Ночью она долго не могла уснуть и даже разбудила Изольду:

– Я поняла! Татьяна мстит Онегину, а не пытается хранить верность мужу! Она же просто упирается своей местью!

Изольда, зевнув, отозвалась:

– Это потому, что Татьяну вчера пела Городкова, большая, между нами, стерва.



## Глава 7

### МНИМАЯ ПРОСТУШКА

Согрин шел в театр, следом за ним летели краски. Что станет с ними, когда я умру, думал Согрин, они лягут в землю вместе со мной или отправятся на поиски нового художника?

Серая краска, морщинистая, с кракелюрами, как старый холст, асфальт или темная слоновья кожа. Оранжевая, с молочным налетом, с горечью апельсиновых косточек. Белая, бледная, больная, как паутина или слюна.

Людей у служебного входа, как на трамвайной остановке в час пик. Артистов в те годы встречали, будто героев-полярников. Предлагали донести сумку, просили автограф, просто глазели в свое удовольствие. Театр был не просто театром, а смыслом жизни для тех, кто вправду любил искусство, как только его можно было любить в закрытом заводском городе.

Согрин встал на крыльце за колонной и крутил головой, как филин. Он не мог знать, что Татьяна давным-давно дома. Кормит дочку и даже не догадывается о том, как сильно ждет ее под снегопадом незнакомый человек.

– Согрин? – нежданный оклик. Объятие, похожее на тумак.

Так встречаются старые приятели, если можно, конечно, назвать приятелем Валеру

Режкина, бывшего сокурсника и вечного конкурента. Улыбка на лице Согрина появилась не сразу – ее пришлось вызывать силком, как особо капризного духа. Приятели не виделись двенадцать лет, но за это время почти ничего не изменилось – Согрин почувствовал прежнюю зависть к Валере. Как выяснилось, она никуда не пропадала, а терпеливо ждала встречи, такой как сейчас.

– Ты что тут делаешь? – спросил Валера.

– Гуляю. На спектакле был. А ты?

Валера вежливо, но криво улыбнулся:

– Не обратил внимания на декорации?

Согрин не хотел ничего слушать о Валериных успехах – заранее знал, что расстроится. Нельзя общаться с такими людьми, как Режкин, – они начинают карьеру одновременно с нами, а потом взмывают вверх так, что не нагонишь.

Валера будто не замечал насупленного лица Согрина.

– Ты все с Женькой живешь? – спрашивал Валера, увлекая Согрина обратно в театр. – Буфет еще не закрыли, выпьем по маленькой?

«Выпить можно, – подумал Согрин, – вот только как же та девушка?» Пока говорили с Валерой, он с ног до головы оглядывал каждого, кто покидал театр, – узнал Гремина в кроличьей шапке, полненького Онегина в модной длиннополой дубленке: «Морозной пылью серебрится его бровь-ный воротник...» Узнал даже добрую контролершу, которая пустила его в зал.

Валера – нечуткий, как все успешные люди, – шагал впереди. Их пропустили без звука, правда, дамочка в бюро пропусков попросила:

– Долго-то не засиживайтесь!

– Не волнуйся, ласточка, – обещал Валера. – По сто грамм, и домой.

Дамочка порозовела – приятно быть ласточкой в сорок шесть лет!

Столики в артистическом буфете оказались заняты.

– А я и не знал, что здесь тоже есть буфет, – сказал Согрин, но Валера его не слышал – он договаривался с кем-то за столиком и тащил к нему новые стулья.

Лена, точная версия Светы из зрительского буфета, наливала водку в стаканы и выкладывала бутерброды на кусочки картона.

– Расскажи, как там Женя, – велел Валера.

Вокруг было шумно, но Согрин и так знал, о чем пойдет разговор. Раньше Валера был влюблен в Евгению Ивановну, и это единственный пункт, в котором Согрин сумел одержать над ним победу. Иногда ему казалось, что он женился на Евгении Ивановне, чтобы досадить Валере. На самом деле он женился только потому, что этого хотела она.

Художественное училище, второй курс. Обнаженная натура. Двадцать студентов ждут, пока разденется модель. Кто-то громко рассказывает, как в прошлом году рисовал «синявку» – за чекушку, никого больше уговорить не смог, хотя

предлагал тридцать копеек за час. Пьянчужка не могла сидеть неподвижно, заваливалась на бок, не рисунок – мучение! Преподаватель смеется вместе со всеми, но на часы поглядывает нервно. Наконец появляется она.

Такая маленькая! «Не маленькая – миниатюрная», – поправляет сам себя Согрин, стараясь не смотреть на девушку такими же глазами, как все. Он – художник. Он видит красоту, а не...

Студенты сосредоточенно сопят. Рабочая тишина, мечта преподавателей. Согрин вспоминает репродукции османских миниатюр. Идеально вылепленная женщина, матовая кожа. По фотографии можно поверить, что в ней метр восемьдесят росту. Глаза – светлый лавр, прозрачные, будто кожица крыжовника. Согрин рисует ее так, как больше не сможет никто – ни в группе, ни в принципе. Даже Валера Режкин в полете.

Заканчивая рисунок, Согрин точно знал, что у него будет продолжение.

Преподаватель, умница и убежденный алкоголик, смотрит на модель и думает, что давно не видел такого красивого тела. Некрасивую писать интереснее. А эта... На что вдохновит, кроме перепиха? Глянец, химические цвета, как у тех парней в сквере, что малюют на заказ шлягерные сюжеты – гологрудых девок на фоне бурлящих водопадов, беспощадно алых роз и темных туч с яркой веткой молнии. То ли Вагнер, то ли Константин Васильев. Песнь о Нибелунгах, уркин сон, тюремный романс.

...Женечка хорошо запомнила тот день. Мальчик из параллельной группы спросил, не хочет ли она подзаработать. Тот мальчик ей нравился, и предложение было соблазнительным – раздеться перед двадцатью художниками! Она еще год назад, школьницей, каждый день по два часа сидела на подоконнике голышом, ноги в окно – якобы загорала. Странно, как редко люди смотрят вверх, думала Женечка. Ню с пятого этажа никто не замечал.

Теперь все было по-другому – она сидела в кресле, завешенном белой простыней, а юные художники (есть такой журнал – «Юный художник», лукаво и лениво вспоминала Женечка) непрерывно смотрели то на нее, то на свой рисунок. Каждый взгляд прилетал, будто сладкий удар, и так хотелось поскорее увидеть их работы! И только один хмурый тип у окна смотрел на Женечку так, словно бы она была самой обыкновенной девицей – таких по сто штук в каждом доме, даже голая не интересна. Женечка рассердилась на этого типа, но чем больше он хмурился, тем больше нравился ей... Когда сеанс закончился и Женечка, завернувшись в простыню, как в тогу, встала с кресла, тот, хмурый, подошел к ней и резко развернул, как щит, свой рисунок. Там было все его восхищение, то, о чем он промолчал, все, о чем хмурился. Вот, значит, как это бывает у художников!

Согрин бегло, без удовольствия, вспомнил тот день – теперь он не хранил в себе тайны.

Женечка давно стала Евгенией Ивановной. Красивое тело вначале превратилось в привычное, а потом в обычное. Художник Согрин стал ремесленником. А вот Валера остался художником и, судя по декорациям к «Онегину», превращался в мастера.

## Глава 8

### ПРОРОК

В гримерке Изольда садилась чуточку боком, и другой хористке, Шаровой, всякий раз приходилось подолгу устраиваться, чтобы не мешать соседке. Два года назад к ним втиснули еще один столик и еще одну артистку, молоденькую Лену Кротович. Старожилки поворчали, но потом смирились и с теснотой, и с Леной – а куда деваться? Валя, впервые очутившись в Изольдиной гримке, вслух возмутилась: почему ее обожаемая наставница ютится в таких условиях? Локти поджимает, чтобы других не задеть! И, кстати, почему они гримируются сами? Валя думала, в театре каждый делает только одно дело...

Изольда хмыкнула и продолжала краситься – она не разговаривала перед спектаклем и даже для Вали исключения не делала. Добродушная Шарова, тонируя щеки, принялась объяснять: только солисткам дают отдельные гримерки, но и они часто красятся сами – особенно если хотят хорошо выглядеть.

Хорошо выглядеть? Валя поежилась, рассматривая грим Шаровой: желто-коричневые щеки, наклеенные длинные ресницы и алые, возмутительно алые для такой старухи губы. Лена Кротович, хоть и была моложе Шаровой лет на тридцать, в гриме выглядела примерно так же – кстати, когда она делала макияж, то посматривала всякий

раз то на Шарову, то на Изольду. Валя сразу вспомнила двоечников в школе, они точно так же заглядывают в тетради соседей.

Потом Валя, конечно же, привыкла к театральному гриму, это он только вблизи кажется чрезмерным, а из зала лица артисток смотрятся вполне естественно.

– Ну вот, – сказала Шарова. – Я готова причесываться.

Валя вскочила:

– Давайте я позову!

Шарова улыбнулась, Изольда, не отрывая глаз от зеркала, кивнула.

На вешалках покачивались платья крестьянских девушек, Изольда заплетала себе косу. В первых сценах ее всегда выводили вперед, хотя по возрасту она не слишком годилась в девушки, зато все еще была самой красивой в хоре – тут мнения Вали и Голубева полностью совпадали.

Крестьянские девушки стадцем бредут к дверям с грозной табличкой «ТИХО! ИДЕТ СПЕКТАКЛЬ!», Валя спешит следом, волнуется. Прошло много лет, но ей так и не удалось признать повседневность театральной сказки – она и сейчас каждый раз вспыхивает от радости, встретив в коридоре Ленского в дуэльном костюме, нахмуренно проверяющего на ходу sms, или графиню из «Пиковой дамы» с сигаретой «Вог» на отлете. Что уж говорить о тех давних выходах на сцену, когда она шла за руку с Изольдой, и та шепотом



давала ей последние наставления – *сиди тихонько на скамеечке, не вздумай мешать хору или солистам*. Руки у Изольды прохладные, ногти остренькие, гладкие.

В тот вечер перед началом спектакля Шарова с Изольдой стояли рядом с Вале́й, и ей ужасно не хотелось отпускать их на сцену. Было почему-то страшно. И когда они ушли, стало еще страшнее. С Валиной скамеечки виден был только один фрагмент сцены, Изольда по ходу действия пропала из поля зрения, и Валя отчаянно молила, сама не понимая кого, чтобы она поскорее вернулась. Во второй сцене девочка вцепилась в наставницу:

– Давайте уйдем!

– Шутить? – возмутилась Изольда, освобождая руку, – на ней отпечатались испуганные следы детских пальцев.

Тогда Валя еще не знала, что Изольда не верит ни в приметы, ни в предчувствия, а для артистки это – большая редкость. Шарова, например, боялась выходить на сцену, если ее сменные туфли лежали вдруг скрещенными. Она, Шарова, и спасла тогда Валью от праведного гнева наставницы – сама невысокая, была вынуждена склониться чуть ли не вдвое, чтобы заглянуть Вале в глаза.

– Что случилось, малышка? – спросила Шарова.

Старомодный чепчик превратил ее в добрую бабушку. Валя выпалила:

– Сейчас будет очень плохое на сцене!

Изольда нахмурилась, но Шарова цыкнула на нее с таким видом, который прощают только старым соседкам по гримерке. И помчалась на сцену. Татьяна – Городкова к тому времени уже допела главную арию и теперь изображала (не слишком убедительно), что пишет письмо. Валя с Изольдой бежали следом за Шаровой, и в тот момент, когда вся троица выскочила на сцену, осветительный прибор, установленный за гигантской луной, рухнул, разбившись в полушаге от Городковой и осыпав ее мелкой солью осколков.

Певица завизжала, оркестр по инерции сыграл еще пару тактов. Потом занавес закрылся и зрителям, одновременно напуганным и довольным, принесли извинения за прерванный спектакль. На сцену спешил врач, хормейстерша ругалась изощренным матом, походившим скорее на иностранный язык, чем на традиционное русское сквернословие. Изольда крепко прижала Валю к теплому боку, мимо несли носилки с Татьяной – Городковой. Из мелких ссадин на лице солистки сочилась кровь, смешиваясь с гримом и слезами.

## Глава 9

### БЕЛАЯ ДАМА

У Татьяны была всего одна вредная привычка – чтение. Библиофилия в запущенной форме, на такой стадии болезнь, как правило, уже не лечится. Татьяна читала сразу несколько книг, раскиданных повсюду, – одна в кухне, одна в ванной, одна в сумке, одна в гримерке, одна на коврике рядом с диваном. Мать уже и не ругалась, а молча убирала книжки, когда они мешали ей в кухне, ванной или на коврике рядом с диваном. Что поделать, Татьяна жила только на сцене, а все остальное время ей приходилось оживлять себя с помощью книг. Болезненная инъекция Достоевского. Долгая питательная капельница с Томасом Манном (особенно хорошо помогал «Доктор Фаустус»). Успокоительный сбор из Мюриэл Спарк, Амоса Тугуолы и Петера Хандке. Чехов в мелкой таблетированной форме.

В юности Татьяне казалось, что жизнь похожа на шведский стол, какие она видела во время гастролей: набираешь как можно больше яств в тарелку, количество подходов неограниченно. Коварство самобранки в том, что самые вкусные блюда быстро заканчиваются, а для того чтобы получить особо желанный десерт, приходится выстаивать длинную очередь... Что же до прочего ассортимента, то он на глазах превращается в кислятину, часы работы между тем сокращаются,

ресторан закрывают, и граждане с пустыми тарелками молча бредут восвояси.

Набор новых чувств ограничен, как этот шведский стол, и Татьяне еще повезло – артистке волей-неволей приходится перевоплощаться: то в египтянку, то в норвежскую рыбачку, то в цыганку. Она и рожать-то решила потому, что с детских лет верила – именно этот акт превратит ее в настоящую женщину. Хотя на самом деле он всего лишь сделал ее матерью.

Театр, дочка, бывший, давно позабытый любовник – при встрече Татьяна всего лишь вежливо кивала ему, бежавшему из ямы в курилку. Она почему-то чувствовала себя виноватой перед ним – использовала и бросила на прежнее место, в оркестр. Все чаще Татьяна думала: «Неужели это – всё?» Неужели с ней больше не случится ничего значительного, важного, прекрасного? Она могла бы, конечно, мечтать о главных партиях, тем более солистки в те годы вырастали именно из хороших, но тщеславия для таких мыслей у нее было недостаточно, амбиции же и вовсе отсутствовали. Мама давно уверилась – Татьяна не станет ей конкуренткой, так и просидит всю жизнь в хоре. Или с книгой.

Книги в те прискорбные времена можно было купить только благодаря знакомствам, и Татьяна, как наркоман, искала этих знакомств и в конце концов нашла. Иначе откуда бы взяться Тутуоле в семье двух скромных певец?

Ранним утром на темных улицах мерзли первые пешеходы, и в таких же точно темных небесах горели последние звезды.

Татьяна тянула за веревку детские саночки, где вместо ребенка ехали на полозьях бесценные пачки с макулатурой – старые газеты, затянутые шпагатом, давно прочитанные журналы, из которых было выдрано все мало-мальски ценное... Макулатуру от граждан принимали ранним утром в пятницу, Татьяна занимала очередь в киоск и мерзла, стараясь не думать о том, как это вредно для голоса. Очередь ползла медленной змеей, царь киоска Борис Григорьевич Федоров Первый и Бессменный брезгливо взвешивал бумагу на весах и выдавал в обмен несколько блеклых марок.

– Морис Дрюон, – объявлял царь Борис. – «Негоже лилиям прясть». Спрашивайте в книжных магазинах через пару месяцев.

Счастливчик уходил прочь, морозное небо светлело, а царь Борис выносил приговор следующему претенденту:

– Что вы сюда обоев старых натолкали?

Хозяйка некондиционной пачки виновато моргала, и снова слышалось:

– «Негоже лилиям прясть». Морис Дрюон. Узнавайте в магазинах, я только принимаю макулатуру и выдаю марки. У нас огромная, самая читающая в мире страна, и книжек на всех не хватает.

Татьяна терпеливо ждала, веревка впивалась в ладони.

– Негоже лилиям прясть!

Это сказал юноша в модной трикотажной шапочке (с рискованным, на нынешний взгляд, названием «петушок»). Минуту назад его здесь не было.

– Вы настоящая лилия, а стоите в очереди за барахляной книжкой... Негоже. Понимаете?

Татьяна не понимала. А что ей делать? В библиотеке на того же самого Дрюона – многомесячная очередь.

– Пойдемте со мной, – шепнул юноша. – Покажу вам настоящие книги.

Татьяна бросила нерешительный взгляд на очередь – до заветных весов оставалось каких-то двенадцать человек. Но юноша уже взял ее за руку.

Звали его Ильей, и был он младшим братом царя Бориса. Уже через полчаса Татьяна чувствовала себя алкоголиком, попавшим на склад продукции ликеро-водочного комбината. На потайной квартирке в картонных коробках хранились такие сокровища, рядом с которыми клады затонувших кораблей покажутся детскими «секретиками». Пачки с Дрюоном и Лажечниковым хозяин небрежно отбросил в сторону, как мусор. Единственный вопрос: чем же за все это расплачиваться?

– Деньгами, конечно, – рассмеялся Илья. – Но если вы, гражданочка лилия, захотите еще чего-нибудь, с превеликим удовольствием откликнусь.

В ответ Татьяна совсем не по-лилейному раскраснелась и поспешно достала кошелек.

Наивная, она решила, что этот Илья высматривает в очереди подходящих покупателей и окучивает их с молчаливой поддержки брата. На самом же деле книги в пачках ждали куда более серьезных клиентов, чем Татьяна, и царь Борис от души выругал брата за произвольную торговлю. Куда делись Манн, Кортасар, Апдайк, Савинио, Пиранделло? Где Бьой, твою мать, Касарес? Илья и сам понимал, что рискует, – он не знал, кто такая Татьяна, мог влететь под статью, нарушить отлаженное дело...

Татьяна приходила за книжным зельем снова и снова, и каждый раз Илья приберегал для нее самые лучшие книги – те, которые читал сам или собирался прочесть. Жаль, не успел – в конце той зимы и царя Бориса, и его брата все-таки арестовали. Илья предчувствовал подобное развитие жизненного сюжета: он все же не на заводе работал, а вполне осознанно спекулировал дефицитным товаром. За два дня до ареста написал Татьяне любовное письмо, где самым ценным были адреса верных людей, которые будут регулярно снабжать Татьяну книгами.

Письмо Татьяна прочла внимательно и почувствовала Илье – ответить ему чем-то более масштабным она не могла. Она умела любить только книги, театр и – немного – свою маленькую дочь. Когда Оля начала запоминать буквы, Татьяна обрадовалось, узнав союзницу: они с дочкой будут сидеть рядом и читать всю жизнь, до самой смерти. Десятки разных жизней – на сцене,

тысячи – в книгах. «Что может быть лучше? – думала Татьяна. – Тем более что ничего другого в мире нет. И, наверное, уже никогда не будет».

Жизнь съежилась, свернулась клубком, замолчала. Даже на сцену Татьяна все чаще теперь выходила, переживая одну только скуку. Книги – репетиции – спектакли – книги. Дочка тем временем пошла в школу. Копье гладиолуса, бант, щербатая улыбка – зубы выпали, а новые вырастить не спешили.

Татьяна была не самой плохой матерью – самых плохих лишают родительских прав. Она всего лишь ошиблась, как сотни тысяч других женщин, которые считают, что рождение ребенка заставит смириться с жизнью и оправдать ее. Оля держалась как можно дальше от сцены, успевала в математике и относилась к матери с удивительно явным для такого возраста пренебрежением.

Только книги спасали Татьяну от смерти. Анестезирующий укол Набокова. Двадцать лечебных страниц Готфрида Келлера. Гомеопатическая новелла «Делия Элена Сан-Марко». Татьяне требовались все большие дозы, и вскоре она перешла на самых серьезных авторов.



## Глава 10

### ДОЧЬ ПОЛКА

Изольда трясла Валу за плечо, пока та не пришла в себя. Они были одни в гримерке, спектакль, судя по всему, давно закончился. Изольда – в своих обычных джинсах, лицо чисто умыто. На столике – книжка, ровно посередине заложенная старым билетом в театр.

Валя пыталась вспомнить, что произошло, но кроме злобного профиля новой ведущей на ум ничего не пришло. «Царская невеста», Грязной – Костюченко, поиски соринки в глазу Мартыновой, Леда Лебедь, способная разглядеть тысячи соринки в чужих глазах. Главный режиссер рассеянно погладил Валу по голове. И потом – чернота, будто во всем театре вырубил свет.

– Ты упала в обморок, – сказала Изольда. – Народ переполошился, ждет беды.

Валя чувствовала не только сильную слабость, но и слабую силу. Она должна была сказать какую-то важную вещь, но Изольда остановила ее:

– Отдохни. Пять минут ничего не решают.

...Та давняя авария на сцене принесла увольнение двум монтировщикам, долгий отпуск солистке Городковой и пожизненную славу Вале – никому до той поры неведомой. Разумеется, многие знали, что Изольда взяла на воспитание больную девочку-сироту, но чтобы эта самая сирота вдруг превратилась в добрый дух театра, в олицетворение коллективного суеверия?

В театре почти каждый соблюдает свои собственные приметы и еще с десятков общепринятых: например, если артист упадет на сцене, успех его тут же скроется за горизонтом, как вечернее солнце. А если уронишь ноты из рук, на них надо сразу же сесть, чтобы отвести беду. А если, не дай бог, плюнешь на сцену – жди несчастья... Выучить все эти приметы с первого раза невозможно, да Валя и не пыталась – она стала приметой сама. После злополучного «Онегина» главный дирижер потребовал ее присутствия на генеральной репетиции «Царской невесты». Тогда-то и выяснилось, что, когда Валя рядом, в театре все идет, как надо. Горло не болит, костюмы не рвутся по швам, зарплату дают вовремя (кассир с обнадеживающей фамилией Рублева готова была это подтвердить). Перед гастролями на Валю был особый спрос – она с точностью предсказывала, кого возьмут в Германию, а кому придется ограничиться поездкой в соседнюю область. Добрая Валя радовалась за первых и грустила со вторыми, а еще она охотно выполняла мелкие поручения артистов – сбегать за сигаретами, заплатить за телефон, встретить приятелей у входа и проводить в зал... Неудивительно, что сразу же после окончания школы Валю приняли на работу в театр – должность называлась «консультант».

Двадцать один раз Валя предсказывала аварии на сцене, пять раз – сердечные приступы артистов, четырнадцать – предупреждала тайных любовников о появлении «свидетелей умиленных».

К Вале прислушивался каждый, но больше всего с нею считались в хоре и кордебалете. Ее приемную мать хоровые начали следом звать Изольдой, а балетные перед сложными спектаклями «одалживали» Валу – просто посидеть за сценой. Главный режиссер на полном серьезе советовался с девочкой, особенно в те дни, когда его допекал Голубев. Все старались ненароком прикоснуться к Вале, как к изваянию Иоанна Непомуцкого, она стала важной частью театра, и только один человек не желал этого признавать.

За глаза Леда Лебедь называла Валу «карла». Драгоценные минуты свиданий с главным дирижером Леда частично тратила на уговоры – уволить карлу из театра. «Что за средневековый бред!» – возмущалась Лебедь, теребя массивный крестик, который лежал на ее грудях, как на толстых белых подушечках. Вспотевший от волнения дирижер соглашался с Ледой: действительно, развели тут, понимаешь, какое-то мракобесие... Но лишь только Лебедь выплывала из кабинета, Голубев мысленно просил у Вали прощения. Он был самым суеверным человеком в театре, и карла много раз спасала его от серьезных «косяков» и «вешалок». С Вале дирижер связываться не решался и поэтому начал выживать из театра солистку Мартынову – второе существо, ненавистное Леде.

Валя считала, что певческую силу Леда Лебедь добывает из ненависти. Ее злой могучий голос мог навывлет пробить любой оркестр и поднять

на ноги даже самый бездарный зал. Петь Леда Лебедь умела, а вот артисткой стать не смогла.

В глазах мелькали липкие черные мошки.

– Надо сказать главрежу... Он ищет новую Татьяну, но когда ее найдут...

Валя замолчала, уткнувшись взглядом в старую афишу, висевшую на стене гримерки уже лет тридцать. «Евгений Онегин», очередной и бессчетный. Так плохо девочке не было никогда в жизни – и это чувство было связано с новой, пока еще не назначенной Татьяной.

«Евгений Онегин» да «Царская невеста» – гвозди американских гастролей, а гастролы через полгода, а новой Татьяне надо пустить корни, спеться... Мартынова и правда слабовата – на той неделе Валя заменяла суфлершу и несколько раз ловила такие ноты! Валя искренне любила Мартынову, но не сомневалась, что ее место в хоре. А вот Изольда запросто смогла бы спеть Татьяну – эх, если бы не возраст!

Они с Валею в шутку репетировали главные партии в «Онегине», и всякий раз Валя удивлялась голосу Изольды, расточительному, ясному сопрано. Каждое слово, каждую ноту она выпевала так, словно бы это были не слово и нота, а драгоценные камни, омытые морем. Чистые камни. Чистые ноты. Чистые слова.

– Валя, ты поешь не хуже меня, – признала однажды Изольда.

Это была серьезная похвала – простая хористка знала подлинную цену своему голосу.

## Глава 11

### ШКОЛА ВЛЮБЛЕННЫХ

Евгения Ивановна умерла в то самое время, когда Согрин этого ждал. Нет, он даже в мыслях не торопил жену закругляться с земной жизнью, но при этом терпеливо ждал, пока с дороги исчезнет важное препятствие.

Последние тридцать лет они жили мирно, как пионеры в образцовой дружине.

Татьяна пела, Согрин рисовал (прежде писал, теперь – всего лишь рисовал. Это как с оперой – раньше ее слушали, теперь – всего лишь смотрят), а вот Евгения Ивановна, порядочный и чистоплотный во всех отношениях человек (Гигиена Ивановна), не имела никакого отношения к искусству и в силу этого не заслужила такой короткой жизни... Что ж, в наших силах подарить ей, по крайней мере, легкую смерть! Натурщица Женечка и педагог Евгения Ивановна жили дружно и умерли в один день, во сне, на Пасхальной неделе, когда в раю проходит день открытых дверей. Под старость Евгения Ивановна поддавалась религиозным чувствам, правда, вынесли они ее к брегам какой-то секты. Согрин не пытался разобратся, какой именно, – с годами ему все меньше хотелось искать и познавать Бога. Он в него просто верил – с некоторых пор.

Церковные братья (Согрин звал их «сослуживцы») навестили его после похорон Евгении

Ивановны, агрессивно приглашая вдовца на поминальное богослужение и духоподъемную беседу. Согрин вежливо отказался – ему было некогда. Ему надо было искать Татьяну.

Свое здоровье Согрин берег, как самый ценный капитал, но не по стариковской привычке или от страха раньше времени предстать перед Богом, а просто потому, что не имел права умирать раньше встречи.

Старый дом, где прежде жила Татьяна, давно снесли – Согрин этому не удивился. Тридцать лет для города – срок не менее серьезный, чем для человека. Татьяна могла быть где угодно – в Москве, в Петербурге, за границей, и в точности Согрин знал только одно: он ее обязательно найдет. Какой бы она ни стала, где бы ни жила.

Вот уже полчаса Согрин стоял у театра и не решался войти. Скромная афиша еще вчера обещала «Трубадура», сегодня – «Спектакль будет объявлен особо». Художник переступил порог, и золотистая краска с мелкой алмазной крошкой успела проскочить следом, обогнать и броситься в глаза слепящим шаром.

В буфете Валера не засиделся, потащил Согрина к себе домой. Однокомнатное, слишком уж чистое для художника помещение не рассказало о Валере ничего лишнего. Такими бывают гостиничные номера, где уборщица поспешно стирает подробности жизни прежних клиентов: пылесосит выпавшие волосы, выносит тематический

мусор, обрызгивает освежителем воздуха прокуренные шторы. Подозрительное отсутствие человеческих примет. Редкая бедность красок.

– Люблю порядок, – объяснил Валера.

Согрин устал, вечер оказался длинным, как год, но прощаться с Валерой художник не спешил, боялся потерять теперь уже верную дорожку в театр. Он терпеливо напивался, ожидая, пока Валера наконец догадается пригласить его в декорационный цех – Согрин-то уже после первой рюмки позвал приятеля в кинотеатр.

– Брось, старик, – отмахнулся Валера, – я твои афиши и так каждый день рассматриваю. Мимо проезжаю, веришь – глаз оторвать не могу.

Как всякий нормальный художник, Согрин вначале почувствовал радость и потом только догадался, что Валера шутил. Но обижаться не стал – Режкин ждал его назавтра в театре:

– Приходи перед вечерним спектаклем, покажу тебе цех и контрамарку дам. Мои-то все уже были на «Травиате».

– Твои? – переспросил Согрин.

– Родители, брат, девушка, – перечислил Валера. – Точнее, девушки. Ну ты понимаешь!

Им было по тридцать два. По тем временам – что для неженатого мужчины, что для одинокой женщины – диагноз, но Согрин тогда впервые подумал о Евгении Ивановне с недовольством. «Декорации, девушки»...

Согрину хотелось спросить у Валеры про артисток хора, но он не решился. Было бы неловко

караулить возле гримерных... Но не пригодилось ни знакомство с Валерой, ни прогулка по закулисью... Громадный декорационный цех Согрин осмотрел мельком, косил глазами по сторонам, потом замедлял шаг в коридорах, долго сидел в буфете, но Татьяны за сценой так и не увидел. Ходили артистки, наряженные куртизанками, Согрин впивался взглядом в каждое загримированное лицо, но так и не увидел той девушки.

Валере он к тому времени уже изрядно надоел, тот спроваживал гостя с облегчением, но обещанную контрамарку дать не забыл. Правда, на завтрашний вечер. «Риголетто». «Сердце красавицы... Склонно к измене...» – фальшиво спел Валера на прощание и поскакал к себе в цех.

Снежная метель закрыла театр ширмой, белой и тонкой, как марля. Матово светились теплые лампы, а у Согрина были Евгения Ивановна, афиши и надоедливые краски. Краска кирпичная, жаркая, с коричневой окалиной. Краска белая, беглая, промерзшая, тающая. Согрин осознал, что у него нет в памяти точного портрета – и лицо той девушки представляется размытым, как под слоем мокрого снега.

За пять минут до начала «Риголетто» Согрин увидел Татьяну в зрительском буфете и рассмотрел, как любимую картину. Татьяна была тонкой и прямой, как шпага. Светлые, с заметной рыжиной, волосы падали, как занавес. Согрин боялся посмотреть Татьяне в глаза, и она взглянула на него первая. Краска коричневая, черепаховая,



влажная. Зеленая, душная, как стебель в оранжерее. Темные пятна ряски, кофейные брызги... Татьяна улыбнулась Согрину.

Увертюра окончилась, играли первый акт.

## Глава 12

### БОГЕМА

«Пускай погибну я, но прежде...»

Вале мешала уснуть недавно спетая ария – так поэту не дает покоя новая строка. Репетировать в квартире Изольда не разрешала: даже самое профессиональное пение не радует соседей, поэтому они ходили в среднюю школу, в класс той самой подруги-аккомпаниаторши, пытавшейся затащить в дивный мир искусства пятерых оболтусов возрастом до тринадцати лет. Оболтусы обреченно стучали пальцами по клавишам, но при первой же возможности забывали дома ноты или вообще не появлялись на занятиях.

Репетировали поздними вечерами, когда у Изольды не было спектаклей. Учили сольфеджио, нотную грамоту, композицию.

Диктанты Валя писала на слух с такой точностью, что Изольда в конце концов начала играть ей очень сложные отрывки, но даже их девочка записывала верно до последней ноты.

«Я пью волшебный яд желаний...»

Валя вспоминала другие уроки. Спьяну мать много раз пыталась научить ее фотографии, совала в руки камеру. Она была для матери тем же самым, чем стала для нее впоследствии водка. Через объектив мать лучше видела жизнь и выбирала только те картинки, на которые ей хотелось смотреть. Фотография – как вольная редакция

божественного замысла. Неудивительно, что все окончилось так страшно.

В кадре не должно быть слишком много воздуха – Валя вспоминала слова матери и думала: так же, как в пении. Чем больше подробностей и деталей, тем лучше. Смотри внимательно, прицеливайся, ищи хорошую точку для выстрела – съемка – это род охоты, а не искусство. Матерые фотографы всегда похожи на опытных стрелков.

Валя бережно хранила черный конверт с ранними работами мамы, она часто разглядывала снимки, пытаясь найти в чужих глазах родное отражение. Мать снимала почти одни только портреты и выстраивала сложные, как в шахматах, многоходовые композиции. Работы напоминали колоратурное сопрано – контрастом, виртуозностью, отчаянием.

...Городская многоэтажка, растрепанный полойный ящик, старуха, встав на цыпочки, выуживает из него хлам, будто ловит рыбу. Дети играют в песочнице, их мамы курят на скамейке. Не сразу заметишь, что в одном из окон многоэтажки сидит обнаженная девушка. Голые ноги, полоска темных очков.

...Женщина смотрит вверх, запрокинув голову, там происходит нечто важное, и женщине хочется быть наверху, а не вытягивать шею. Кажется, что снимок обрезан и утраченная часть объяснит, на что женщина смотрит, но второй части попросту не существовало, ее должен был придумать зритель. Мать любила такие

работы – с бесконечным числом объяснений, и Валя не знала, режиссировала она эти кадры или высматривала готовые сюжеты. Прицеливалась – и стреляла.

...Младенец в пеленках лежит поперек дивана и заливается плачем – можно услышать этот несчастный рев. Рядом с младенцем – початая пачка сигарет «Комета» и бутылка водки. На обороте снимка четкая надпись: «Вале пять месяцев»...

Мать брезговала цветом, и снимки ее получались от этого еще более тоскливыми. Висельные работы. Зато они рассказывали такие вещи, которых Валя ниоткуда больше узнать не могла. Разглядывая фотографии, Валя вспоминала мамин голос – хриплый, обиженный, резкий.

– Снимать красивые виды – самое сложное, – объясняла мать, пока Валя мучилась от тяжести камеры, придавившей худенькие коленки, и от водочного запаха, летевшего к ней со словами.

Язык у мамы пока еще не заплетался, но ждать этого недолго. Оперным солистам, сколько бы ни протянул ноту, обязательно нужно допеть окончание слова, мягко приземлиться на последнем звуке. Мама, напившись, вначале сглатывала именно окончания, а потом и все слова ее странным образом деформировались, превращаясь в неизвестный язык.

– Хорошо снять крупную форму способны только профессионалы, нужен грамотный свет и штатив... – Мать обняла Валу, обожгла водочной вонью.

Однажды ей надо было снять один старинный дом, но пленка оказалась запоротой – дом упрямо заваливался набок, хотя она снимала его чуть ли не из положения лежа.

– Может, он просто не хотел фотографироваться? – спросила Валя, но мать покачала головой: штатив, свет, опыт.

Когда она наконец засыпала, Валя осторожно уносила камеру на кухню и запирала в верхнем шкафчике – мать много раз пыталась разбить фотоаппарат, спяну ей в нем мерещились опасность и тайная сила.

...Щербатые квадратики метлахской плитки, глубокая старая ванна. Теперь здесь по очереди (а иногда и вместе) отмокают балетные, но на мамином снимке в ванне лежит неизвестная женщина. Смутной детской памятью Валя вспоминала это мятое лицо – на границе между женщиной и старухой. Вода скрывает тело незнакомки, но руки подняты вверх и до локтей одеты мыльной пеной, затянута в невесомые бальные перчатки. Эти чудесные воздетые руки были совсем из другой оперы, и смятое лицо не имело к ним никакого отношения... Чем дольше Валя смотрела на снимок, тем явственнее замечала – щербатые квадратики плитки похожи на сетку, которую художники наносят на лист перед работой – однажды эти метлахские квадраты сложатся в рисунок.

...Еще один снимок. Валя с нетерпением ждала, когда до него дойдет очередь.

Автопортрет. Маленькая (но все же взрослая и несомненная женщина по сравнению с нынешней Вале́й) модель сидит на подоконнике в полупрофиль. Челка до глаз, улыбка, в каждой руке – по зажженной сигарете. Дым синхронными кучерявыми линиями уходит к потолку, к оголенной лампочке.

Вот и все. Можно смотреть сначала. Да саро, как пишут в нотах.

Порой Изольда тоже разглядывала мамины снимки вместе с Вале́й, с ее молчаливого разрешения. А вот о семье и прежней жизни наставницы Валя не знала ничего. Фотографий на стенах не было, письма не приходили, звонили только старые подруги. Валя догадывалась, что у Изольды когда-то была семья, но прошел не один год, прежде чем ее подпустили к этой теме.

– Раньше я не знала, как надо воспитывать ребенка, – сказала однажды Изольда. – А когда разобралась, это было уже никому не нужно.

## Глава 13

### ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК

В театральном буфете всегда очереди, вот почему артисты, не занятые в спектаклях, сбегают в зрительский – там во время действия шаром покати. Татьяна улыбнулась незнакомому пока еще Согрину, взяла пирожное – корзиночку с родимым пятном джема – и задумалась, какой столик занять. Закулисный буфет не допускал выбора.

– Можно мне с вами? – спросил Согрин.

Обновленные здания, декорации без героев – как странно возвращаться к ним после стольких лет: собирать дряхлые воспоминания, оставленные в сторону чувства... Согрин узнавал театр и в то же самое время не мог его узнать. На входе – исполинские охранники, металлоискатель, контролерша в лихо зауженном жакете. Из дверей партера несутся басовитые кряканья, резкие переборы, жалобные трели и складываются в гармоничную какофонию настраивающегося оркестра. Согрин вдохнул полной грудью знакомый воздух. Не было никаких тридцати лет, вот о чем сообщил ему театр. Не важно, что зрители одеты запросто – в джинсы, главное, Согрин вернулся из тюрьмы, из долгой тридцатилетней ссылки.

Он протянул билет контролерше и услышал:

– Спектакль заменили, вместо «Трубадура» будет «Онегин».

Согрин поднял глаза к золоченому потолку. Он знал, что все его молитвы поступают прямо по назначению, как заказные письма и срочные телеграммы. С ответом там тоже не медлили.

В дни Татьянинных спектаклей Согрин приходил за полчаса до начала. Кружил по фойе, разглядывал зрителей – он быстро наловчился отличать любителей от профессионалов, сразу определял музыкантов, артистов, *своих*. Увертюры казались теперь Согрину слишком долгими – он каждый раз боялся не увидеть Татьяну. Сейчас хор выйдет на сцену, после этой высокой ноты...

...Цыганки в «Трубадуре» – Татьяна в красном с оборками платье (на подкладке крупными чернильными буквами выведена ее фамилия) проходит по сцене, как по проволоке.

...Крестьянки в «Онегине» – Согрин следил за хором, пока Ларина не отсылала всех со сцены. Сцену письма Согрин считал самой скучной в спектакле, и пока солистка изнемогала от чувств, неблагодарный зритель сочинял афишу для нового фильма. Главную роль играла Наталья Белохвостикова, но Согрин знал, что на афише он нарисует Татьяну. Конечно же, сходство будет заметно не сразу, а при определенном ракурсе, да и Белохвостикову он тоже не обидит... Задача вдруг увиделась Согрину такой соблазнительной, что он с трудом дождался антракта и сбежал в мастерскую.

Когда афишу вывесили, Татьяна смущенно и радостно смотрела на свой портрет – она понимала Согрина влет, без долгих объяснений.



Казалось, что на афише Белохвостикова, но ни в фильме, ни в жизни, у этой артистки не было и не могло быть такого взгляда и такой улыбки. Со временем все известные киноактрисы одна за другой превратились в Татьяну – Согрин сумел заколдовать даже Наталью Варлей, хотя менее непохожую женщину можно было выдумать только на заказ.

Спустя годы, когда те первые встречи схватились в памяти, Татьяна и Согрин, каждый сидя на своей колокольне, замерли в своем кусочке города и горя, как мухи в янтаре. Искали, как дети в задачнике, верные ответы. Почему они встретились в том шалом обкромсанном феврале, почему так легко услышали и поняли друг друга? В разных квартирах одного города пытались решить эту задачу, как безумные ученые, перебирали множество способов, так и сяк вертели условия, вглядывались в себя и тщетно старались прочесть мысли другого. Вместе им, наверное, удалось бы однажды решить ее – порознь было не справиться никому.

Согрин остановился у портретной галереи. Солисты в ролях: сурмленные брови, блестящие губы, разведенные крылья рук... Многие лица он видел прежде, но сейчас за каждым из них искал единственное отражение. Хороший запас воспоминаний позволил ему продержаться целых тридцать лет, как грамотно составленный НЗ. Ну и краски были рядом все эти годы, освещали путь короткими цветными вспышками. Малиновая,

приторная, поплывшая от жары. Голубая, горькая, гремучая. Лиловая, больная, зернистая... И четкие, как фотоснимки, воспоминания.

...Крым, краденое у осени солнце. Потемневшие волосы облепили лицо Татьяны, как лепестки уснувшего цветка. На мочках ушей сверкнули крупные капли воды – Согрину захотелось, чтобы они так и остались там, но Татьяна стряхнула «сережки» и вышла из моря ленивой Венерой.

...Сентябрьская суббота, безымянная деревня, далекий стон электрички. Красное пальто Татьяны: резкий мазок кровью по листовяной меди. В первый раз за этот долгий день Согрин обнял Татьяну.

Птица шумно спорхнула с ветки, и ветер изпод крыльев охладил лица. Раскрылся занавес, солнечный свет залил любовников, будто бы неопытный осветитель хозяйничал на сцене. Далекий зритель, тайный хозяин труппы, хотел ближе и лучше разглядеть своих грешных артистов.

...Весенний снег, зеленая трава с белой крошкой. Татьяна спешит, но Согрин просит ее, как ребенок, торгуется, как матерый рыночник, и она сдается, стряхивает белых холодных жуков с шапочки, остается еще на несколько драгоценных минут.

Согрин так часто спасался этими воспоминаниями, что за долгие годы они превратились в любимую книгу, каждую страницу которой можно читать с закрытыми глазами. Превратились, но не надоели и не стерлись.

## Глава 14

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДУШЕ И ТЕЛЕ

«Увертюра – это третий звонок», – размышляла Валя. До Глюка, оперного Лютера, зрители преспокойно заходили в зал во время увертюры. И основные темы в ней не звучали, да и вообще никто в эту музыку всерьез не вслушивался. И если бы не Глюк, никогда бы не появились такие прекрасные увертюры, которые могут быть лучше иных опер. Как в «Анне Болейн». Слушая вступление, Валя представляла себе опоздавших зрителей, застывших в проходах между рядами. Заколдованных так, что не могут сдвинуться с места...

Валя с удовольствием пересказывала Изольде все свои маленькие открытия, может быть, не слишком-то важные для человека, знающего оперную историю. Но для Вали это были именно *открытия!* Главные герои всегда поют высокими голосами. В старых операх – три тенора, три сопрано, но никто никому не мешает, и редко когда мелькнет в партитуре какой-нибудь бас. Зато сейчас хорошие тенора – дефицитный товар, и столько партий написано для меццо...

Валя первой бежала поздравлять артистов после особенно удачного выхода и не понимала брюзжания ведущей: «Мужики, хорош кланяться! Занавес!» Это после того-то, как Онегина с Ленским зал не отпускал целых десять минут! Она

всегда замеряла время аплодисментов по часам, истово любила артистов, верила в успех каждого, за исключением самой себя.

Себя такую она на сцене не представляла и думать об этом не смела. А вот Изольда грешила такими мыслями и однажды после утренней распевки подошла к хормейстерше Глуховой. Та была особой цепкой и страстной, хористов гоняла, как сидоровых коз, а о таких понятиях, как «жалость» или «сострадание», не имела даже примерного представления. Заставляла петь во время менструаций – в святые для хористок дни, когда нельзя напрягать связки, а ведь раньше, ворчала Изольда, об этом даже не заикались. Артистки заранее сообщали о своих «больных днях» и отдыхали на законных основаниях...

Так вот, Изольда подошла к Глуховой, и Валя, услышав, о чем они говорят, закрыла лицо руками.

Глухова стояла к Вале спиной, но даже со спины было видно, как насмешила ее Изольда. Спина задрожала, плечи поднялись, рука махнула – шутите?

Изольда была серьезна, как в трагической роли. Настаивала, а сама тоже нервничала, Валя видела красные пятна, проступившие на щеках наставницы. Дождаться ответа Глуховой Валя не стала, вылетела из хорового класса и бежала длинными коридорами театра, пока не нашла укромный мышиный уголок, где можно вырветься, пожалев себя и наивную Изольду. В дальнем углу за сценой, среди сваленного в кучу старого

реквизита, Валя уселась на обманчиво тяжелый сундук и, стряхивая с пальцев душистую театральную паутину, по-детски сладко зарыдала. Запах сцены был здесь особенно густым и плотным, как лесной воздух, и забытые ради новых спектаклей предметы тихо роптали, как старые артисты. Театр ворчливо утешал маленькую Валю, прильнувшую к пропыленному сюртуку...

Ну почему Изольда не хочет понять – Вале не стать артисткой, каким бы голосом ни наградила ее природа! Голос – еще не все, и пусть Изольда изо всех сил старается убедить Глухову и саму Валю, пусть дрожащими пальцами извлекает из альбома старинные фотоснимки хора, где лучший бас представлен в виде худого малорослого юноши... Неужели Изольда не понимает, что Вале никогда не выйти на сцену, даже затерявшись среди рослых артисток, не пустить живой росток голоса в общее цветение хора... И зря она не стала спорить, когда Изольда решила начать эти уроки, Валино место – в театре, но всегда и только за сценой. Вот здесь, на бутафорском сундуке!

Валя вытерла кулачком глаза. Она быстро привыкла к темноте и теперь безошибочно узнавала безмолвных соседей – беседку из старого «Онегина», деревянный штурвал из «Голландца», зеркало из «Травиаты».

Изольда нашла Валю только через час, к тому времени она уже не плакала, а просто сидела, понуро скорчившись, на сундуке. Наставница

вздохнула так, что стало ясно: Глухова не желает думать о Вале, как о хористке.

– Но я пойду к главрежу, – сказала Изольда. – На Глуховой свет клином не сошелся.

Главный режиссер терпеть не мог, когда в его кабинете подолгу сидели посторонние: уже через минуту он начинал нервничать и чаще обычного курил. Возможно, именно поэтому к нему тянулась неизбывная толпа алчущих внимания, партий, отпуска и повышения зарплаты – к Голубеву так просто было не пробиться, а у Сергея Геннадьевича даже секретарши не имелось.

Секретарша маэстро заглянула сразу после обеда и повелительно кивнула в сторону дирижерского кабинета:

– Вас просят срочно подойти.

Интересно, есть ли на земле театры, где главные режиссеры имеют право голоса?

На подороге его перехватила Изольда – «на два слова». Глаза старой хористки были то ли заплаканными, то ли злыми – главный режиссер не разобрал, но вдруг решил, что Голубев раз в жизни подождет.

## Глава 15

### ДИРЕКТОР ТЕАТРА

Голубев рисовал в блокноте скрипичные и басовые ключи – целыми строками, как в первом классе музыкальной школы. Директор театра Аникеев, желчный, но еще молодой человек с ухватками комсомольского светоча, рисовал в своем ежедневнике домики с дымящими трубами. Единственная в кабинете дама ничего не рисовала и великодушно притворялась, будто бы не видит ничего ужасного в том, что главного режиссера ищут по всему театру вот уже целых полчаса. Что ж, когда она возьмет дело в свои руки, все пойдет по-другому! Дама сладко улыбнулась будущему коллеге Голубеву и, она в этом не сомневалась, *своему предшественнику* Аникееву, и тут в кабинет наконец-то вошел главреж. Даме он понравился куда больше Голубева с Аникеевым – симпатичный мужчина, такого и лысина не портит.

Главреж удивился тому, что Голубев не ворчит и Аникеев сидит над блокнотом понурый, как второгодник. И что здесь делает эта дама?

– Вы не знакомы? – спросил маэстро. – Вера Андреевна Тупикова. Самый вероятный претендент на пост директора театра, потому что Юрий Петрович нас покидает. Правда, Юрий Петрович? Аникеев кивнул, что правда.

Конфликт между парой самых влиятельных (насчет себя главреж давно не питал иллюзий)

в театре людей давно переместился со сцены в зал – все знали, что директор и дирижер ненавидят друг друга так обстоятельно и пылко, что об этом при желании можно было бы сочинить целую оперу. Нелюбовь Голубева к Аникееву получала дополнительный градус за счет регулярных усилий солистки Лебедь, справедливо считавшей Аникеева повинным в ущемлении ее прав в пользу солистки Мартыновой. Наконец у Аникеева иссяк стратегический запас терпения, попросту говоря, устал он шашками махаться, и когда ему предложили пост в эстрадном театре, взял, да и согласился. Ошалевший от радости Голубев под занавес, так сказать, решил подружиться с Аникеевым, но в ответ получил лишь вялое рукопожатие и неживую улыбку. Голубев тогда еще не знал, что спонсоры, от которых зависели все назначения и кадровые перетасовки в театре, приготовили ему новое испытание. На должность Аникеева давно заглядывалась бывшая партийная работница, а ныне деловая женщина без комплексов, предрассудков и музыкального образования Вера Тупикова. Она была совладелицей спонсорской фирмы, за счет которой артистам шили костюмы, оплачивали постановки и порой отправляли Голубева в заграничные здравницы – с Ледой или Натальей Кирилловной по выбору. Вера Андреевна давно мечтала вдохнуть новую жизнь под заплесневелые своды оперного театра, и лишь только на горизонте забрезжил уход Аникеева, тут же доказала на практике отличные координа-



ционные способности. «Или вы берете меня, или я прикрываю вашу лавочку», – решительно заявила Тупикова. Может, не в точности такими словами, но по смыслу никаких разночтений.

Маэстро занервничал не на шутку, а Леда – впервые в жизни – начала говорить об Аникееве с тоской и симпатией, но времени отыгрывать назад у них не было. Приказ о назначении нового директора следовало подписать в ближайшие дни.

– И мало никому не покажется! – обещала Вера Андреевна. – Я имею в виду, что нам необходимо найти новый путь к сердцу зрителя.

Вера Андреевна, в отличие от сидевших в кабинете мужчин, много путешествовала по миру и в каждом крупном городе старалась посещать театры – прежде всего музыкальные. Ее особенно пленяли современные постановки, и каждый раз она с обидой думала: ну почему же у нас в городе не могут придумать неожиданное, модное решение спектакля? «Аида», где полуголые солисты потрясают автоматами, чернокожая Дездемона в «Отелло», «Летучий голландец» на пустой сцене (Сента – в рыбацкой сети на плечах). Зрителю все это так близко! Классический репертуар и ширпотребная позолота уместны только в Большом, где много иностранцев, но если мы – Вера Андреевна сразу же стала говорить о театре просто «мы» – хотим добиться успеха у серьезной публики, то наряду с лубочными, традиционно русскими постановками необходимо найти некую, выражаясь молодежным языком, фишку. Без

этой самой фишки никаких американских гастролей не будет – нам нужен большой успех. Крупная рыба! Иначе театру не выйти в люди.

Голубев тяжело вздохнул.

– Думайте, – приказала Вера Андреевна. – Принимаются любые предложения, даже самые спорные.

Она поднялась с места, щедро улыбнулась маэстро и потом перевела взгляд на главного режиссера.

– У меня есть спорное предложение, – сказал Сергей Геннадьевич. – Даже очень спорное.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Дано одно – и спросят за одно.

### Глава 16

#### СИЛА СУДЬБЫ

В том, что касалось любви, книги были единодушны. Изъяснялись они по-разному, в зависимости от вкусов, способностей и темперамента авторов, но в главном совпадали: любовь заявляет о себе так же решительно, как депутат накануне перевыборов.

Татьяна многим нравилась, и любили ее, наверное, многие, но пробудить в ней самой хотя бы чуточку схожие чувства никто не смог, даже собственная дочь. Татьяна завидовала тем, кто умеет любить, да вот хотя бы родной матери: та в каждый роман бросалась, как с крепостной стены – в ров. А Татьяна довольствовалась разорванными, несмонтированными кусками, например, она любила голос нового баритона, который работал в театре всего лишь второй сезон. Хозяин голоса ей не нравился, но если закрыть глаза, то можно влюбиться в голос, как в отдельную личность... Жаль, что с постоянно закрытыми глазами долго

не проживешь и что голос баритона существовал в комплекте с его телом и характером, как подарочные наборы к 23 Февраля, где импортный галстук продавался в нагрузку с кривой рубашкой отечественного пошива.

В другой раз Татьяна влюбилась в руки – руки трубача, который стал Олиным отцом. Она следила за каждым движением этих рук, и кроме них в трубаче ей, пожалуй, нравились еще только ямочки на щеках: они появлялись во время игры, а потом исчезали.

Голос, руки, ямочки – жалкий набор. Татьяна хотела бы полюбить человека целиком, не разбирая его по деталям, как в конструкторе, но, познакомившись с Согриным, вновь принялась за старое – запомнила широкие ладони, вздернутый бабий подбородок, голос, дающий заметную трещину... Она согласилась с ним встретиться только потому, что дома не было новой книги.

Любовь – обертка, в которую каждый может спрятать все, что пожелает. Страсть – это любовь, и Первое к Коринфянам – тоже любовь, и нужное здесь вычеркивать нельзя, а лишнее – не хочется. Впервые очутившись в мастерской Согрина, Татьяна не думала о любви, она всего лишь устала от своего дома и театра, от мамы и дочери, от скудных воспоминаний, похожих на расчлененные чувства, – руки, голос, ямочки... А Согрин даже не мечтал о том, что новая знакомая так быстро перейдет со сцены в зал, но настала ночь, потом – утро, а после и Согрин,

и Татьяна ни в чем уже больше не сомневались. И не было ни стыдно, ни страшно – просто они не имели теперь права жить по одному. Жил человек, тяжело болел, а потом вдруг поправился. Жили двое, да, в общем, и не жили, если честно, а потом встретились.

Однажды Татьяна заметила, что Согрин больше не состоит из голоса, ладоней и подбородка: эти черты существуют теперь словно бы в другом измерении, где каждая хорошо и правильно дополняет другую, и, главное, все это не имеет теперь никакого значения.

Встречались они в театре. После спектаклей Согрин провожал Татьяну домой и долго потом еще маячил под окном – рядом с березой привычно темнело его пальто. В свободные от спектаклей дни Согрин приезжал домой к Татьяне. Оля уходила в школу, мама – на репетицию: надо было торопиться, но они всегда успевали сделать все, что хотели. Татьяна видела в зеркале отражение двух тел и каждый раз думала: вот это и есть моя лучшая партия.

Они встречались и дома у Согриных – в отсутствие Евгении Ивановны, о которой Татьяна думала с симпатией и жалостью. Она сумела полюбить даже Евгению Ивановну, потому что любила все, связанное с Согриным, а уж как раз Евгения Ивановна была с ним связана накрепко. Татьяна разглядывала ее фотографии, думая, что жена Согрина совсем не умеет одеваться: впрочем, они с Татьяной не были в равных положениях –

той шила театральная портниха. Избитые туфли, пропотевшие платья: учиха учихой. Татьяна ранилась взглядом о вещи Евгении Ивановны, уносила с собой их удушливый жаркий запах. Голос у Евгении Ивановны был сверлящий, не голос – лязганье корнцанга. Татьяна не звонила домой Согрину – слишком долго забывался этот стоматологический голос. Металлическое, с кровавым привкусом «алло».

Согрин и Татьяна говорили о будущем так, словно все давным-давно решили, а теперь осталось только обсудить детали. Конечно, Согрин разведется с Евгенией Ивановной, и женится на Татьяне, и станет Оле отцом.

Мать Татьяны Согрин недолюбливал, а дочку боялся. В девочке так причудливо соединились родительские черты, что это полностью лишило ее собственной личности: по крайней мере, так казалось Согрину. Вот Оля улыбается смущенной материнской улыбкой, но высокие скулы и холодные глаза обращают ее в отцовский портрет – так эти два лица менялись до бесконечности, Согрин следил за живым калейдоскопом, пока девочка наконец не чувствовала на себе его взгляд и не отворачивалась. Оля терпеть не могла Согрина, ведь они с мамой закрывались в комнате на ключ и страшно молчали там долгими часами. Девочка уходила из дому, расчетливо хлопая дверью, но никто не ругался и даже не обращал внимания – бабка была в театре, мать молчала в комнате со своим художником... Оля шла

к соседке – студентке арха. Там пустые зеленые бутылки стояли в коридоре ровными шеренгами и был полон дом народом – художники, фотографии, скульпторы... Мрачное лицо девочки избавлялось от родительских черт, сбрасывало их, как одежду, и никто не узнал бы теперь Татьяниной улыбки, и скулы отца, тщательно запомненные ревнивым Согриным, исчезали, и какой-то скульптор сказал про Олю:

– Я буду лепить эту голову.

Как будто голова существовала сама по себе, отдельно от нее.

Оля позировала скульптору, пока бабушка не возвращалась из театра, – забирала девочку из прокуренной квартиры, машинально кокетничала с гостями, благодарила пьяную хозяйку. Татьяна открывала наконец запертую дверь, оттуда вырывался горячий пряный воздух, будто настоящий на травах. Согрин не отрывал глаз от Татьяны, не видел ни дочери ее, ни мамы. Только краски прорывали иногда оборону. Алая, влажная, тягучая. Черная, жженая, бешеная. Розовая, невинная, бледная. Согрин уходил, но тут же вставал под окном у березы, и Оля думала, чем бы в него бросить.

Вскоре Татьяна стала смотреть на Согрина так, как он прежде смотрел на нее. Они поменялись ролями, как Онегин и Татьяна в последнем акте. Тогда-то, словно бы дождавшись этой перемены зрения и чувств, к Согрину в мастерскую и пришел ангел. О таком не скажешь – явился, он

именно что буднично пришел. Ничего особенного, один из многих, рядовой состав.

– Никуда не годится... – Ангел озирался по сторонам, а Согрин не понимал, что никуда не годится? Он сам, его жизнь, Татьяна? Мебель?

Взбудораженные краски ногтями впивались в виски, ангел терпеливо ронял слова:

– Могу показать, что будет. – Он вел себя, как продавец в дорогом магазине.

Согрин кивнул – покажи. Лучше бы не кивал! Целых тридцать лет он будет пытаться забыть то видение, но оно останется с ним до последнего дня из одиннадцати тысяч.

Ангел влет поймал розовую липкую краску и протянул ее Согрину. Краска стихла, поблекла, сжалась в комочек – ни дать ни взять иностранная жевательная резинка.

– Через тридцать лет сможешь быть с ней, но не раньше, – сказал ангел. – Не переживай, эти годы пройдут как один день.



## Глава 17

### ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС

Главное, на что упирала Изольда, – Вале не нужно стоять в первых рядах, пусть она спокойно поет на втором плане! Туфли на двенадцатисантиметровых каблуках, грим, парик, а что касается голоса, по этой части Вале нет равных, Сергей Геннадьевич сам скоро в этом убедится.

Главный режиссер, как все в театре, любил Валу, но обещать ничего не стал – сказал, что подумает. Изольда ушла, склонив голову, как усталая лошадь. И вот как не верить после этого в исключительные Валины способности, если уже через пять минут в кабинете маэстро главреж взял да брякнул, что у него есть спорное предложение?.. Вера Андреевна задрожала, как гончая на следу, Голубев и Аникеев ушли, выражаясь балетным языком, «к озеру», и вот уже главный режиссер спешно разыскивает Изольду и объявляет, что Валино прослушивание состоится прямо сейчас, то есть немедленно.

Вера Андреевна, конечно же, бывала за кулисами и раньше, но тогда она чувствовала себя здесь гостьей: с букетом, коньяком и рдеющими щеками. Роль хозяйки подходила ей больше, и теперь новая директриса с удовольствием прикидывала, какой ремонт забабашает в коридорах, как облицует зеркалами артистический буфет, и еще надо будет запретить оркестрантам курить

на лестничных площадках. Сама Вера Андреевна покуривала изрядно, но, как все противоречивые натуры, не прощала скверных привычек окружающим. Тем более табачный дым вреден для нежного певческого горла.

Директриса распрямила полные, словно бы туго набитые ватой, плечи, властно улыбнулась Сергею Геннадьевичу, а он тем временем рассказывал о Вале какие-то глупые сплетни. Вера Андреевна гулко рассмеялась. Впрочем, в наше время может сработать даже такая история – людям требуется громадное количество свежей информации, и если хорошенько пропиарить эту самую Валу, это лишь подогреет интерес к театру. «Что нам и требуется», – подумала Вера Андреевна, открывая двери в хоровой класс.

Валя сидела на скамеечке, старая хористка обнимала ее за плечи. Вера Андреевна была разочарована – она ожидала увидеть пусть маленькую, но ладную девушку, а ей подсунули блеклую уродицу: крупная, не по размеру, голова, бесцветное носатое лицо, низкий лоб. Из такого материала фишки не получится. Вере Андреевне следовало отказаться от прослушивания, но она была деловой женщиной и много раз обдумывала любое свое решение. Доверять интуиции в бизнесе следует не меньше, но и не больше, чем прочим вводным данным. Вера Андреевна приказала интуиции помалкивать и уселась на стул. Рядом, как на групповом фотоснимке, расположились главреж, Голубев, Аникеев, а также неизвестно отку-

да взявшиеся Наталья Кирилловна, хормейстер Глухова и даже почему-то Леда Лебедь.

Аккомпаниаторша преданно сверлила глазами Изольду, та встряхнула Валу, подняла ее с места, как тряпичную куклу, и чуть ли не перенесла к роялю.

Прослушивание началось.

Вера Андреевна любила русскую оперную классику прежде всего потому, что ей нравилось понимать, о чем идет речь. В последние годы все чересчур увлеклись оригинальными постановками, исполняют «Отелло» на языке оригинала, «Голландца» на языке оригинала, а ведь в зале-то, на минуточку, сидят обычные русские люди! Кроме того, Вера Андреевна справедливо считала, что американцам будет приятно услышать исконный русский язык: это придаст гастролям нужную пикантность, и поэтому из репертуарного плана будут вычеркнуты все «иностранные» спектакли. Русскую оперу Вера Андреевна любила еще и потому, что могла узнать ее самые хитовые арии – это тоже немаловажный момент, ведь директор театра, не способный отличить Даргомыжского от Доницетти, навряд ли будет пользоваться авторитетом в творческом коллективе. Бдительно наблюдая за бледным личиком Вали, слушавшей вступление, как шаги палача, Вера Андреевна с удовольствием отметила, что для прослушивания карлица выбрала «Письмо Татьяны».

Леда Лебедь фыркнула.  
Голубев дернул плечом.  
Глухова поморщилась, будто раскусила гнилой орех.

Наталья Кирилловна широко распахнула глаза.

Аникеев потупился.

Главный режиссер по-детски раскрыл рот.

Изольда напряглась и застыла.

Валя запела.

Ария Татьяны, второй акт, сцена письма. Кажется, будто Валя только лишь открывает рот, подчиняясь силе чужого сильного голоса. Как если бы ее озвучивали.

Изольда плакала.

Главный режиссер содрал коросту с новой ранки на лысине и не почувствовал боли.

Аникеев встал с места.

Наталья Кирилловна улыбнулась.

Глухова приложила обе ладони к щекам.

Голубев налился алой краской, как внезапно попевший шиповник.

Леда Лебедь дышала тяжело, будто после трудного спектакля.

Вера Андреевна сказала:

– Американцы очень любят, когда у людей с ограниченными возможностями есть равные со всеми права. Олимпийские игры для инвалидов, пандусы для въезда в супермаркет, и почему бы Вале не спеть Татьяну? Это будет фишка!

Новая директриса еще раз оглядела девочку с головы до ног.

– В хоре тебе делать нечего. А вы, – она кивнула Голубеву, – срочно вводите ее в спектакль. Устроим прогон перед гастроями.

## Глава 18

### СОМНАМБУЛА

– Через тридцать лет мы будем стариками, – плакала Татьяна. – Больными и слабыми стариками, какая, к черту, любовь?

...В старинных легендах влюбленные частенько назначают друг другу свидания на том свете. Эти легенды Татьяна читала еще в детстве и каждый раз удивлялась, зачем любящим сердцам обязательно нужно разлучаться и гибнуть? Лейли и Меджнун. Фархад и Ширин. Тристан и Изольда. Цветок на общей могиле – вот и вся радость. Теперь Татьяна тоже словно бы угодила в такую легенду, но вместо загробной встречи ей обещали счастливую старческую любовь.

Она не верила, что к Согрину приходил ангел. Пить надо меньше и не будет никаких видений! Очень удобно – увидеть ангела и все бросить, предать, скрыться под сенью жены, которая казалась теперь Татьяне не жалкой, а мифической фигурой, чем-то вроде единорога. Наверное, Евгения Ивановна считает, что выиграла в этой борьбе, что ее смирение, терпение и любовь перемололи роман мужа в самую настоящую муку. А ведь прежде это была мука...

Книги больше не помогали, и Татьяна не знала, что делать с собой, раскрытой, прочитанной и отвергнутой: ибо написана, как выяснилось, плохо и вообще очень несвоевременная книга.

Согрин не сказал, чем грозил ангел в случае непослушания, он просто объявил мораторий на тридцать лет. И добавил, удрученно хмурясь, что уже теперь нетерпеливо ждет старости и торопит ее приход. Он каждый день в календаре зачеркивает! Согрин стремился поскорее начать жизнь без Татьяны, ведь только так он мог к ней приблизиться и сократить срок.

Татьяна страдала еще и потому, что Согрин отучил ее жить по-прежнему. Сцена и хорошая книга – прежде этого хватало, но теперь все изменилось. Новая Татьяна не умещалась в прежнюю жизнь. Ей нужен был Согрин.

Татьяна тоже хотела бы поговорить с каким-нибудь ангелом и в то время стала чаще прежнего петь на клиросе. Храмы всегда кормят артистов, и во время литургии здесь можно встретить и Гремина, и Мими – без грима, в серьезном скучном платье. Так и Татьяна пела и пережила вместе с этим краткий период насильственного воцерковления. Юный попик в миссионерском пылу дарил ей книжки, звонил вечерами, отправлял пространные письма с орфографическими ошибками и подробными цитатами из Евангелия – они были похожи на заплатки, прихваченные кавычками к листу. К несчастью, пел тот попик гнусаво, не попадал ни в одну ноту, и поэтому вместо благоговения Татьяну всякий раз брал смех. На том все ее воцерковление окончилось, не начавшись. Молитвы ударялись в потолок, как мячики, отскакивали

и снова возвращались. И ангел так и *не явился*, и даже *не пришел*.

Теперь Татьяна пыталась найти место, где бы ее не съедала тоска по Согрину, и однажды оно нашлось в ее же доме. Оказалось, что книги надо сложить с вином – и так жизнь превратится в почти что сносную. Татьяна выпивала, вначале стесняясь матери с дочкой, а потом не чинясь, в открытую. Вино оживляло даже самых скучных персонажей, придавало вкус избитому сюжету: читательница Татьяна была всеядной и не брезговала третьесортными авторами (был бы рядом царевич Илья из макулатурного киоска, не допустил бы такого падения).

Ночами Татьяна плакала о Согрине, как о покойнике. Он, впрочем, и так был покойником – любившего ее художника больше не существовало. Даже его афиши изменились, краски выцвели, а киноартистки стали походить на самих себя.

Татьяна искала встречи с ним, как прежде, новых книг. Теперь она отыскивала следы Согрина, бродила без усталости по городу, но даже если они встречались, с ней говорил чужой уставший человек.

– Ты не любишь меня? – спрашивала Татьяна.

– Я ничего тебе не скажу, – отвечал Согрин.

Наконец она поверила, что эта серия – последняя. Спектакль сняли с репертуара, костюмы и декорации тлеют в запасниках.

Ей не давали покоя подробности, оставшиеся после Согрина. Кресло в третьем ряду парте-



ра, где сидели теперь чужие люди. Случайные столкновения с декоратором Валерой Режкиным – прежде его существование ничего не значило, а теперь Татьяна всякий раз огорчалась при встрече. Что ей было делать с этим Валерой? Как тяжело наткнуться на него, понял бы только писатель, придумавший малозначительного героя и теперь не знающий, куда его сплавить с глаз долой. Татьяна желала избавиться от всех воспоминаний о Согрине и от его подарков, ставших теперь ее собственностью, но в то же время так и не утративших памяти о собственном происхождении: как эмигранты после долгой жизни в чужой стране... Татьяна гнала от себя позорное желание отправить все его подношения на домашний адрес и, жалея Евгению Ивановну, переслала подарки в мастерскую с какой-то автомобильной оказией. Те предметы забрали с собой последнее, что оставалось от любви. Письма Согрина она сожгла, а мимо афиш старалась проезжать с закрытыми глазами, но все равно подглядывала, оборачивалась и увидела однажды, что на афише красуется Инна Чурикова, как две капли воды походившая на Евгению Ивановну.

## Глава 19

### БИТВА ПРИ ЛЕНЬЯНО

Театр – это война. Битва за публику, где в ход идут любые средства – костюмы, грим, таланты, внешность, а также оплаченные заранее букеты и клакеры, продуманно рассеянные по залу. Клакеры, впрочем, нужны не только артистам, но и зрителям. Публика не всегда понимает, где нужно аплодировать, но отзывчиво поддерживает каждый клакерский хлопок, даже если солист не в голосе.

Театральная война – это одновременное наступление по всем фронтам и всеобщая мобилизация. Генералу надо вовремя потрепать по плечу солдатику, солдатику – поддержать товарища, товарищу – не покинуть на поле брани своего командира. Кажется, что на сцене все происходит точно так же – хор старается не перекричать солиста, миманс и балет, оркестр и дирижер – все служат общему делу: победе над зрительскими сердцами. Прежде Валя усмехалась, глядя, как истаивает на сцене ненависть Леды Лебедь, какие теплые чувства разыгрывает она к своим врагам. Что ж, ненависть вернется, прежде чем Леда смочит грим, но зритель об этом уже не узнает. Сражаемся вместе, забыв о распрях и неприязни! Театр, как и война, дело коллективное, и только бедной Вале в ее новом качестве никак не удавалось стать частью общего театрального мира. Место

ее было за сценой – только за сценой! – и в этом не сомневался ни один человек в театре. Валя сражалась одна, как шут, отвергнутый солдатами. Выходила на сцену, чувствуя под ногами дымящееся поле битвы. Свои отвергали ее и смеялись над нею, не чураясь единения с противником, заранее отдавали новоявленную Татьяну на откуп зрителю, глумились, подмигивали, кивали. Все, все ушли в фронт! Бывшие приятели, недавние друзья, за которых Валя отдала бы свою жалкую жизнь не задумываясь, теперь сторонились ее и вредили – каждый по мере сил и способностей. Когда Валу вводили в спектакль, она испытала на себе самые изощренные театральные издевательства. Коля Костюченко – ее кумир и тайная любовь – пел Онегина и каждый раз незаметно «перепевал» строчки, меняя слова на близкие по звучанию скабрёзности, от которых Валя моментально тушевалась и замолкала. Хористки при случае толкали самозваную Татьяну в тощий бок, оркестранты слишком громко играли, отвергнутая Мартынова с наслаждением ела апельсины за сценой, так что цитрусовый дух разъедал Вале связки.

Успех прощают только равным, и когда Валя не была артисткой, ее искренне любили в театре. Но полюбить того, кто стал лучшим, не имея на это никаких прав, того, кто перешагнув через хор и маржовые партии, проскочил в ведущие солисты? Можно ли осуждать артистов за то, что они не желали признать Валу равной себе?

Все партии в этом «Онегине» Вера Андреевна оставила нетронутыми – ей нравилось, что Ольгу поет рослая Катя Боровикова, что вместе с крупной, пышной Лариной они нависают над бедной Валею, как великаны над Гулливером. Пара Татьяны с Греминым выглядела ничуть не менее комично, чем с Онегиным, – Костюченко смотрелся рядом с Валею строгим отцом, а исполнитель партии Гремина, бас с лукавой фамилией Постельник, как совратитель малолетних девочек, лолитчик и маньяк.

– Свят, свят, свят, Господь Саваоф, – возмущалась Леда Лебедь. – Это что теперь у нас, театр музыкальной комедии? В главной роли – Карлик Нос?

Леда говорила громко, ее слышали по всему театру, и весь театр смеялся теперь над Валею. В любви и утешениях ей было отныне отказано, и даже привычные, любимые и темные уголки театра казались ей теперь попросту пыльными. Изольда разбудила в ней артистку, будто спящую красавицу, и прежней тихой роли закулисного ангела Вале уже не хватило бы. Ее сверхъестественные способности были позабыты – получившая голос Валея, как в сказке, утратила возможность разгадывать секреты судьбы, предсказывать будущее и предостерегать неосторожных. Словно бы голос и этот странный дар не могли ужиться в одном человеке.

В театре говорили, что Вера Андреевна скоро остынет к смелому проекту и заменит Валею

новой Татьяной – знатоки горстями высыпали имена. Считалось, что Веранда – так стали звать новую директрису в театре, несмотря на все ее меха и бриллианты, – попросту самоутверждается и сочиняет велосипед, как, собственно говоря, вел бы себя любой человек, очутившийся в таком кресле. Ничего, пройдет год-другой, и Веранда привыкнет к театру и благополучно войдет в прежнюю реку, как это бывало и будет со всеми. Изобретать велосипед не надо и открывать Америку тоже. Впрочем, насчет Америки в театре Веранду как раз-таки поддерживали – до гастролей по южным штатам оставалось всего три месяца, ну а по части того, как удивить за границу, с новым директором никто бы спорить не стал. Точнее, с ней и так никто не спорил – ворчанья раздавались в закулисной обстановке. Маэстро Голубев в последнее время обмяк и осунулся, фрак был ему теперь словно бы не по размеру, и кучерявая Леда Лебедь все реже открывала дверь в его кабинет. В театре все меняется быстро!

Утром, когда в хоровом классе только-только началась распевка, в служебные двери театра вошла высокая, очень худенькая и сутулая девушка с короткой челкой и розовым, как у котенка, носом.

– Зябко сегодня? – спросил охранник и улыбнулся.

Она не ответила ни на вопрос, ни на улыбку. Замерзшими и тоже розовыми пальцами крутила

диск внутреннего телефона. Назвала имя, фамилию.

– Хор в классе, – ответили ей. – Перезвоните позже.

Девушка стянула шапочку и уселась на стул для случайных посетителей, как птица на жердочку.

Вале в этот день делали очередную примерку – громадное платье Мартыновой висело на ней, как штора, и теперь в костюмерном цехе спешно шили новый Татьянин гардероб. Костюмерша – кругленькая и блестящая, как сырная голова, прежде любила Валу, но к переходу ее в солистки оказалась, как и все, не готова. Впрочем, в отличие от прочих обитателей театра, костюмерша высказывала свое недоумение вслух, а не колола девочку булавками и не забывала подрубить подол.

– Ну и какая из тебя артистка, – пыхтела костюмерша, набрав полон рот булавок. Валя зачарованно следила, как они скрываются одна за другой в тяжелой ткани будущего платья. – Ни стати, ни лица... Им, конечно, виднее, – костюмерша кивнула в сторону кабинета Веранды, – но я таких артисток еще ни разу не видела. Только рази в цирке... – Костюмерша хохотала с булавками во рту, и Валя боялась, вдруг проглотит?

Соседки по гримерке убежали сразу после репетиции – Кротович подрабатывала рекламным агентом, Шарова нянчилась с внуком. Изольда взяла Валу за плечи:

– Познакомься.

На месте Шаровой сидела незнакомая девушка, которую Валя почему-то знала. Или, во всяком случае, много раз видела.

– Моя внучка, Лилия.

Девушка кивнула, и Валя вспомнила, где она видела это нежное, но властное личико. Портрет молодой Изольды из старого альбома! Лилия была похожа на бабушку так, словно в процессе ее появления на свет не были замешаны другие люди, как будто она отпочковалась от Изольды неестественным образом и повторяла теперь каждую ее черту, за исключением цвета волос. Лилия была темной масти, Изольда, как подобает, белокурой, но это неважно, подумала Валя, разглядывая новоявленную внучку, как фотографию.

– Лилия будет петь у нас в хоре, – сказала Изольда. – Вводится с завтрашнего дня.

## Глава 20

### УМНИЦА

Согрин ждал старости, как заключенный ждет освобождения, солдат – дембеля, а девушка – свадьбы. Ждал, когда ангел махнет крылом – поехали!

Татьяна пила вино, читала книги и видела сны.

Однажды ей приснилось, что она звонит домой любимому. Звонит из театра – внизу на вахте есть старый телефонный аппарат, руки после него пахнут железом. Трубку в квартире Согрина берет неведомая мать Евгении Ивановны и начинает ласково говорить с Татьяной, объясняя, что Женечка и Согрин ушли в *оперный*.

– Знаете, – лепечет старушка, – я так рада, что они куда-то вместе пошли. А вы рады за них?

Там же, во сне, Татьяна выбежала на улицу, оттолкнулась ногой от тротуара и взлетела. Она летела рядом с собственным окном и видела за стеклом саму себя в слезах, с бутылкой и книгой. Потом она поднялась еще выше и на облаке над крышей обнаружила хмурого слежавшегося ангела. Ангел почесал спину, отщелкнул в сторону пожелтевшее, как из подушки, перо и спросил:

– А зачем тебе дали крылья, если ты летаешь так редко?

Татьяна испугалась и начала падать, ангел ворчал и ерзал на облаке, будто кот, пытающийся найти себе удобное место.



Наутро Татьяна силой затолкала себя в троллейбус и высадила на площади, где стоял новый, отменно уродливый памятник, цвели клумбы и работал фонтан. Татьяна разглядывала прохожих и вспоминала слова Согрина: однажды он сказал, что хочет стать таким же, как все, – просто жить и не мучиться красками... В тот день на площади, над горькими и пыльными цветами Татьяна поняла, что больше не будет пить. Будто бы это была чужая воля, чье-то желание, которое требовалось выполнить собственными руками... За два часа до вечернего спектакля она вылила все вино, припрятанное в разных уголках квартиры, и пела тем вечером, как будто в последний раз или, наоборот, в самый первый. Она сама слышала свой голос – тот, который ни о чем не спрашивает, но о котором ее саму обязательно однажды спросят.

Вечером Оля сказала матери:

– Тебе звонил мужик.

Бабушка возмутилась:

– Как ты смеешь быть такой грубиянкой! Я запрещаю тебе ходить к этим соседям, поняла меня? Ишь, нахваталась! Еще художники называются!

– Что плохого в слове «мужик»? – удивилась Оля.

А Татьяна спросила:

– Какой мужик?

Илья, книжный друг, вернулся из заключения, и первое, о чем он спросил Татьяну по телефону –

что она сейчас читает? Татьяна позвала его в гости, ждала паренька-книготорговца, а пришел вместо него мужчина-писатель.

После освобождения Илья каждую минуту переживал торжественно и радостно, а перемены в стране, которых страдающая Татьяна почти не заметила, воспринял как личный подарок. Счастливый, сияющий ясной лысиной Илья ничем не напоминал Согрина, и с ним Татьяна могла говорить, не опасаясь споткнуться на очередной ступеньке. Согрина Татьяна любила, а Илью нет, поэтому она исцелялась, кормилась его теплотой и заботой. Превращение в писателя выглядело игрой, и только когда Илья впервые принес вместо чужой книжки свою собственную, с автографом, диагонально расчертившим страницу, стало ясно, что игра закончилась. Татьяна долго не решалась взяться за эту книгу, ходила вокруг нее кругами и думала, что в рукописи спрятаться невозможно, и если близкий человек вдруг стал писателем, для нас он будет торчать из книги, как из выросшей одежды, узнаваться и проговариваться, а Илья в считанные дни стал для Татьяны близким человеком. Он любил ее спокойно, терпеливо, и это чувство ничем не походило на красочное, судорожное обожание Согрина. Не пламя, а ровное тепло – на таком можно готовить пищу и согревать одежду.

Брат Ильи, свергнутый царь Борис Григорьевич, по ходу общественных перемен тоже сменил занятие и, вернувшись с зоны годом раньше,

открыл в городе книжное издательство. В отличие от брата, Борис не слишком любил читать. По старой застойной привычке он считал книги удачным помещением капитала, но если прежде речь шла о спекуляции, то теперь – о книгоиздательской деятельности. В память о знаменитом однофамильце Борис Григорьевич Федоров назвал издательство словом «Первопечатник» и довольно быстро растолкал плечами незакаленных тюрмой конкурентов. Книга Ильи появилась на свет как раз в «Первопечатнике» – Борис Григорьевич имел традиционные представления о братских отношениях и, не знакомясь с рукописью, поставил без проволочек в план роман Ильи Федорова «Редкое слово» (твердый переплет, белая бумага, щедрый тираж). «Иначе нельзя, – с царским великодушием думал Борис Григорьевич, – ведь даже если Илюха написал полную мутоту, я все равно буду его печатать». Брат у Бориса был всего один, а денег – много.

Илья между тем надеялся, что Борис внимательно прочел рукопись: он не сомневался, что для издателя важен прежде всего текст, а только потом – его автор. Сам Илья придерживался именно такого взгляда на литературу, но вот Татьяна, к примеру, казалось, что вместо романа она будет читать мысли своего друга и бродить по его душевным закоулкам самым бесцеремонным образом.

В конце концов она все-таки открыла эту книгу. Была летняя ночь, мама и Оля спали рядом на

диване, как воплощение ее прошлого и будущего. От соседки сверху неслись веселые пьяные песни, Татьяна читала роман Ильи – уже успевшую запылиться книгу. Читала до самого утра – удивленно, радостно, счастливо.

А потом пришло утро, а утром жить уже не так страшно.

Как всякий творец, Илья был подозрителен и недоверчив:

– Ты хвалишь меня потому, что не хочешь обидеть? Или считаешь, что мне нужна поддержка? Так ты не бойся, скажи правду.

Ему не хватало подробностей.

Но Татьяна не умела хвалить развернуто. Даже в театре, когда коллега удачно споет, а вдруг похвала покажется лестью? И это притом, что опера – не только объективное и невкусовое, но еще и коллективное искусство, и народ там, хоть и склочный, но все-таки способный радоваться друг за друга и признавать чужой талант.

– У нас все просто, – говорила Татьяна. – Когда есть голос, это слышно всем. А в литературе совсем другие правила, хотя бы потому, что разновидностей голосов здесь множество, и петь каждый может по-своему, и места хватает на всех.... Так что я скажу только за себя – мне очень понравилась твоя книга, и это было как раз то, что мне сейчас нужно.

– Вот видишь, – растрогался Илья, – а говорила, хвалить не умеешь!

Первая книга Ильи была, как потом стало ясно, лучшей из всех, потому что он писал ее без оглядки на мнение редакторов, без приседаний в сторону критиков, без страха, что роман не опубликуют, и без упрека, что читатель пошел теперь не тот. Короче говоря, все, что убивает желание сочинять, Илье тогда было неведомо. Татьяна знала, что история, рассказанная в книге, действительно произошла с отцом Ильи, они с ним несколько раз сталкивались по разным семейным поводам, последним из которых стали его похороны. Через год после освобождения любимого младшего сына, убедившись в том, что у детей все идет как надо, Григорий Борисович – еще не старый, кстати, человек – спокойно и тихо умер. Запомнился он Татьяне мельком, невнимательно, и, прочитав книгу, она стала жалеть об этом. Конечно, Илья вольно обошелся с вехами отцовской жизни, переставляя их в романе по собственному усмотрению, – это чтобы добавить правдоподобия, объяснял он. Иначе ему бы просто никто не поверил.

На Украине, в родной деревне маленького Григория, несколько месяцев подряд стояли итальянские фашисты. Героя книги, четырехлетнего мальчика, Илья отправил на речку и начал безжалостно топить в глубокой воде – Татьяна боялась перевернуть страницу. Фашисты глушили рыбу в реке так, что поверхность скрывалась под белыми брюшками. Мальчик полез в воду за рыбой и тут же задержался на воде, как поплавок.

На помощь ему Илья отправил фашиста Умберто, который месяцем раньше научил готовить местных хозяек макароны с мясным соусом и влюбился в маму маленького Григория.

Илья писал так, как умеют писать только те взрослые, что помнят себя детьми. К началу второй части Татьяна видела за строчками не автора и даже не его отца, а маленького мальчика с изуродованной – казалось, что непоправимо, – душой. Умберто переехал к ним в то самое время, когда отец мальчика умирал где-то далеко отсюда, в полевом госпитале. Когда известие добралось до белесой аккуратной хатки, рядом с которой Умберто понастроил для мальчика деревянных домиков и лесенок, ребенок взял в кухне нож, наточенный наконец-то мужской рукой, и воткнул его в шею спящему Умберто. Силенок было мало, ненависти, пожалуй, даже слишком много, но Умберто не превратился в «умер-то», выжил, а вскоре итальянцы покинули село. Мать просила у сына прощения, каялась перед людьми, потом отправилась, как следовало, на зону и там долгие годы произносила, как во сне, как молитву, итальянские слова. Редкие слова для тех мест: *кафо мио, ти амо*. Мальчик получил звание пионера-героя, его имя прижизненно присвоили пионерской дружине села. На этой высокой ноте Илья начал расправляться с персонажами решительной рукой – вначале от запущенного туберкулеза скончалась мать, потом умер в своей Лигурии булочник Умберто (который всегда говорил

шепотом и постоянно носил широкий шелковый шарф), а в конце концов автор убил и мальчика, выросшего к тому времени в поселкового пьяницу, позорившего славное имя пионера-героя.

Сюжет захватил Татьяну наравне с языком – за приключениями слов в романе она следила едва ли не бдительнее, чем за приключениями героев, и вскоре поняла, что ей все равно, о чем пишет Илья: главное, чтобы он писал в принципе.

Когда книга закончилась, Татьяна рассердилась на нее за это, как на человека, и потом, смеясь, рассказывала об этом Илье.

Вскоре права на перевод романа купило итальянское издательство – штаб-квартира располагалась в Лигурии.

## Глава 21

### ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ

Веранда наводила в театре порядок – как всякая женщина, начинавшая жить в новом доме, она первым делом уничтожала любые следы пребывания предшественников. Для начала отменила давно утвержденные льготы и надбавки к зарплатам, решив, что поощрять будет только тех, кто этого на самом деле заслуживает. Контрамарки работникам театра при Веранде выдавать перестали, вместо этого предлагали льготные билеты. Как залетный микроб, новая директриса парализовала живой организм театра, теперь даже в самом дальнем цехе, в котельной, классах и гримерных витала тяжкая ваниль ее духов, оседала в носгах и саднила горла. В фавориты к Веранде неожиданно угодила главный режиссер, чья словно бы заново натянутая на голову лысина волшебным образом освободилась от кровавых шрамов и царапин. Мнение Сергея Геннадьевича интересовало директрису, даже когда речь заходила о сугубо хозяйственных и финансовых вопросах, что уж говорить о постановочных делах? Вот и сейчас Веранда призвала главрежа в кабинет, чтобы обсудить грядущую премьеру, и он вновь терпеливо объяснял директрисе, кокетливо кутавшейся в кашемировую шаль, что это не премьеры, а всего лишь появление Вали на сцене. Обновленный «Онегин» идет в театре уже шестой сезон, деко-



рации, придуманные знаменитым московским художником Валерием Режкиным, частично приходилось *освежать*, не говоря уже о костюмах для хора и солистов...

– Нет, – лукаво улыбалась Веранда, – это именно премьера и, более того, *шокирующая премьера!* Такого сопрано, как у нас, никому не найти, американцы будут в восторге!

Ей захотелось провести прогон на публике – заменить им вечерний спектакль. Она поднесла к глазам репертуарный план и ткнула пальцем в жертву – «Трубадур».

– До последнего дня «Трубадур», а потом – «Спектакль будет объявлен особо».

Веранда сняла с плеч шаль, и режиссера накрыла волна дохловатой ванильной сладости.

– Мне нужны неподготовленные зрители и естественная реакция, – объясняла директриса, закрывая кабинет изнутри.

Главный режиссер кивнул и, проявляя естественную реакцию, принялся стаскивать с нее блузку.

Валя думала, что Лилия будет жить у них дома, как и полагается внучке Изольды, но оказалось, что у девушки есть в городе собственная квартира. Там, как объяснила наставница, жили ее дочка с зятем, пока не уехали в Петербург. Лилия отпела три сезона в хоре Мариинки, но потом неожиданно для всех решила уехать в провинцию – Вале очень хотелось спросить почему, но

она не решилась бы задавать надменной девушке и куда менее серьезные вопросы. Лилия почти не замечала Валу, да и с Изольдой она общалась в весьма сдержанных, если говорить языком красок, серо-бежевых тонах. Родственными чувствами здесь не пахло, и даже гримерку Лилия делила не с родной бабушкой, а с другими хористками. При этом сходство с молодой Изольдой было у нее таким явным, что старая гвардия театра, встречая Лилию в коридорах, тут же переносилась воспоминаниями в семидесятые.

День прогона меж тем приближался. Вале казалось, что она не доживет до этого дня, петь перед настоящей публикой ей доводилось только в страшных снах.

Труднее всего шел последний акт, когда Онегин и Татьяна встречаются после греминского бала. Малиновый берет казался Вале шутовским колпаком, и на генеральной репетиции она впервые за долгие недели поверила тому, в чем убеждал ее весь театр: Валя и вправду занимает чужое место. Никчемная нахальная карлица не имеет права ни на этот берет, ни на это платье, ни на это место – в левом краю сцены рядом с ведущим баритоном театра, лауреатом международных конкурсов Николаем Костюченко. Валя так быстро, в секунды, потеряла веру в голос, единственное свое оправдание, что голос тут же изменил ей. Ноты поплыли, меняя первоначальный цвет, фальшь резанула слух, и фальшь эта была ее собственной, горькой, как раскаяние. Девуш-

ка заплакала, стянула берет с головы. Она ждала улюлюканья, смеха, злорадства, но в ответ услышала жесткое:

– Так не пойдет!

Коля Костюченко, партнер – Онегин, резко нахлобучил берет ей на голову и потом наклонился, приблизив красивые злые глаза:

– Думаешь, это так просто – взяла и запела? А потом – взяла и перестала петь? А мы что, мимо проходили? Это не только твой спектакль, милая, это еще и *наш* спектакль! – Коля обвел рукой сцену с притихшим хором. – Так что давай! Работай!

Голубев сурово махнул Вале дирижерской палочкой, как строгий постовой. Поехали!

Она запела, и голос ее поднимался все выше, и вскоре не было уже на сцене никакой Вали, а была Татьяна Гремина, встретившая любимого после долгой разлуки.

Хормейстерша Глухова расположилась к Лилии всем сердцем – мариинская закалка, крепкий голос и удобная фактура: на лице этой девушки можно было рисовать, как на чистой бумаге, а фигура и рост у нее были как раз такими, о которых мечтает половина женщин мира (включая саму Глухову, хотя в ее случае мечтами все начиналось и заканчивалось). На репетициях «Онегина» Лилию ставили рядом с Изольдой – они были почти одного роста и похожи, как сестры, особенно когда *младшей* надевали парик с длинной пшеничной косой. Валя тушевалась, встречая Лилию

в театре, рядом с ней она казалась себе особенно ничтожной, уродливой, маленькой. Красавица горделиво плыла мимо и здоровалась, не разжимая губ.

– Странная у вас внучка, – не выдержала надежды Валя. – Хоть бы в гости раз пришла...

– Это не внучка странная, это жизнь наша странная, – сказала Изольда.

## Глава 22

### ФАВОРИТКА

Опера всегда была с Татьяной – девочка еще в материнской утробе слушала хор и сама словно бы пела вместе с мамой. Но лишь под самый закат карьеры Татьяна поняла, что они с оперой неразлучны, когда новенькие, сладко пахнущие молодым потом хористки уже начали теснить ее к дальним декорациям. Когда голос начал стареть, уставать, капризничать.

Впрочем, до этих печальных дней должны были пройти годы.

Годы... Татьяна не верила байкам про ангела, тридцать лет разлуки и счастливую старость, она думала, что художник всего лишь пытался приукрасить расставание. Не зря же он – художник.

Через месяц после того, как они виделись с Согриным в последний раз, Татьяна потеряла голос.

Врач сказал все то, что обычно говорят в таких случаях врачи, – побольше отдыхайте, поменьше нервничайте, и тогда, быть может, голос вернется. Татьяна попыталась представить себе, как она будет жить без голоса, но у нее ничего не получилось, ведь он, голос, и был настоящей Татьяной, а теперь осталась жалкая оболочка, осиротевшая и пустая. Голос – живое существо, которое может болеть и умирать, и теперь Татьяна беспокоилась об этом существе, как о близком человеке, – куда

он ушел, где прячется и собирается ли возвращаться?

В театре ей дали отпуск, и Татьяна засела дома, обложенная книжками, как еретик на костре. Илья забегал каждый вечер – готовил ужин, делал с Олей уроки, встречал мать после спектакля.

– Дура ты, Татьяна, – ласково сказала однажды мать, певшая в тот вечер Ларину и еще не вышедшая из роли. – Иди, пока не поздно, замуж! Ну и пусть он младше!

Татьяна придвинула книгу ближе к лицу, Оля вышла из комнаты, хорошенько приложив дверь. С тех пор, как в доме появился Илья, девочка перестала ходить к соседям и не здоровалась даже с тем скульптором, случайно встречаясь в лифте. Оле было почти тринадцать, и она хорошо знала, чего ей хочется.

– Я задумал новый роман, – рассказывал Илья вечерами. – Там будет пять главных героев, как в опере. У каждого – своя партия, хор из второстепенных персонажей, дуэты и один очень мощный квартет...

Илья и раньше любил оперу, а теперь ходил туда, как в свое время Согрин, на каждый спектакль. Мысли о Согрине не исчезали из жизни Татьяны, а голос не возвращался. Он, как болезнь, селится в теле, никого не спрашивая, и уходит – тоже без лишних объяснений.

В театральном профкоме предложили путевку в санаторий, и Татьяна с дочкой отправились на поиски беглеца – что если голос возродится при

помощи йодо-бромных ванн и кислородных коктейлей?..

Санаторий был стареньким и страшным – по-нурая мебель, сочные комары, почти что земляной пол в душевой, напоминавшей не то окоп, не то тюремную камеру. В ингаляторной на Татьяну однажды свалился громадный кусок побелки – раскрошился на плечах белым порошком. По вечерам устраивали танцы – «Малиновка», шейк «Обручальное кольцо – не простое украшеньё»... Оля влюбилась в красивую даму и выбрала самый неудачный способ завоевать предмет страсти – вышучивала ее болезненного сына. Татьяна перечитала все книги, что были у нее с собой, прошерстила жалкую санаторскую библиотеку и с утра в субботу начинала ждать Илью с новым запасом зелья. Он приезжал первой электричкой и вел Татьяну гулять к берегу озера, до краев налитого коричневатой водой. За ними следили пауки, водомерки и Оля, спрятавшаяся в ближних кустах.

Прогулки по берегу ржавого озера напомнили Татьяне детство, когда мать отправляла ее на дачу с детским садом, – там тоже были зеленые запахи и густое жужжание лета. Неизвестно, что помогло больше – процедуры, размеренный режим или детские воспоминания, но голос вернулся к Татьяне, как блудный сын или ветреный муж, однажды утром она обнаружила его на месте, и вел он себя так, словно бы никуда и не уходил. На радостях Татьяна тут же собралась домой – к неудовольствию дочери, подружившейся

наконец и с красивой дамой, и с ее болезненным отпрыском. Голос готовился к подвигам, Татьяне было всего лишь тридцать два...

Полюбив Согрина, Татьяна думала, что сможет обойтись без театра, но без голоса, как выяснилось, она жить не умеет. Это были ее краски, ее слова, ее картины, фотографии, декорации, книги – все двери открывались одним ключом.

Артисты хора – не пушечное мясо и не общий фон, опера без хора – вообще не опера, и все-таки многие хоровые видят свое место на сцене стартовой площадкой. Вот увидите, пройдет время, и хормейстер (дирижер, режиссер, директор или кто там у нас сегодня принимает судьбоносные решения?) заметит талант и поманит пальцем: «Друг мой, будешь петь эту фразу соло». И вот бывшая хористка в «Царской невесте» несется по сцене в гордом одиночестве: «Боярыни, царица пробудилась!» А там уже рукой подать до маржовых партий, а потом, глядишь, и в солистки пробьешься – ведущие! У нас в театре один тенор вообще из ямы вышел – в буквальном смысле слова. Играл на скрипке, а потом вдруг запел. Скрипачей найти нетрудно, тогда как с тенорами вечная проблема.

Татьяна никогда не мечтала стать солисткой – все тщеславие в их семье досталось матери, которая в свои шестьдесят пела несколько сольных партий. «Эх, мне бы твои годы, – причитала мать, – я бы уехала в Питер, в Москву, я бы такую



карьеру сделала! А так вся жизнь прошла мимо, как будто и не моя была...»

Впрочем, мать унывала редко и каждый год объявляла премьеру любовника. Теперь она выбирала только самых молодых и красивых, обещала им протекцию в театре и обещания свои почти всегда сдерживала. Следить за переменами в Татьяниной карьере у матери времени не было, поэтому о том, что дочке доверили петь Абигайль в премьерном «Набукко», она узнала чуть ли не самой последней в театре. Долгий путь «из хора – в солистки» Татьяна проделала всего за один год.

В день премьеры Татьяне аплодировали дольше всех, и даже директор сказал потом дирижеру: «Что же это вы такую талантливую девушку держали в хористках?» Татьяна до последней минуты перед началом спектакля бегала подглядывать в зал – вдруг Согрин пришел? О премьерке в городе знали все, и билеты были проданы за полтора месяца... В первых рядах партера Согрина не было, но, может, он просто решил сесть подальше?

Он здесь, конечно же, здесь. Разве может он пропустить ее премьеру?.. Абигайль пела в этот вечер только для Согрина, накал чувств и мощный голос напрочь перекрыли все потуги Фенены – той лишь в самом конце удалось взять реванш.

Татьяна улыбалась, кланялась, прижимала руки к груди, принимала цветы и думала: он здесь, он не мог не прийти.

## Глава 23

### ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Тридцать лет пусть медленно, но все же шли, и Согрин каждый вечер расправлялся в календаре с очередной цифрой. Это было целое представление: в окружении гудящих красок, бьющих то в глаз, то в ухо, Согрин доставал из тайника очередной календарь и хоронил новую бессмысленную дату под чернильным пятном. Краски исполняли реквием в землистых тонах: угольная искристая сливалась с карей древесной, а сверху над ними плясала пылающая, глиняная, индейская терракота. По утрам краски свирепствовали особенно – им не нравилось, что Согрин тратит себя на афишную мазню, что он с такой легкостью отказался от живописи.

– У тебя не живопись, а лживопись! – ворчали краски, вкручиваясь штопорами в виски.

Иногда Согрину удавалось приструнить их во время работы – ухватив особенно ретивую краску за липкий хвост, он размазывал ее по афише. Краска, постонав, умолкала, и эта борьба была похожа на борьбу с тягучим, длинным временем.

Евгения Ивановна была рядом, на подходе и подхвате, – с чистой рубашкой, горячим ужином, соблезнующей морщиной на лбу. Учительская часть жены с годами разрослась и поработила все, что уцелело от прежней прелестной Женечки. Эту Женечку даже сама Евгения Ива-

новна забыла накрепко, и случайно выпавшая из альбома фотокарточка заставляла ее удивленно хмуриться. Разве это она? Настоящая Евгения Ивановна выглядит по-другому. Строгий синий жакет, по плечам присыпанный пудрой перхоти. Голос, возрастающий с каждым оборотом и обретающий в финале пронзительность сирены – не мифологической, а милицейской. И самое главное – презрение к тем людям, что не являются учителями. Презрение было козырной картой Евгении Ивановны, с помощью которой она ежедневно выигрывала у своих учеников, а также их родителей. С ненавистью и любовью всегда можно что-нибудь сделать, но против презрения человек бессилён.

Евгения Ивановна наблюдала за тем, как прорастают в учениках черты родителей и семейные привычки, эти своевольные ростки она выпалывала решительной рукой, причёсывая класс по единому образу и подобию. Из рядовых учительниц она быстро ушагала в завучи, потом ее назначили директором школы и под самый занавес, когда на сцене уже красовались декорации перестроенных времен, премировали от района туристической путевкой на двоих. В страну, ранее известную как ГДР. Маршрут был составлен по советским лекалам: Берлин – Дрезден – Лейпциг – Мейсен. Немцы разобрали одну стену и теперь принялись за другую, невидимую, которую за ночь не сломать, как ни старайся. Согрин до последнего дня уговаривал Евгению Ивановну не

тащить его с собой, но жена даже и слышать не хотела о том, чтобы ехать в Германию одной, – она смотрела на это путешествие, как на некий символический итог всей жизни и любви. Вот мы какие – вместе путешествуем, да не в соседний город, а в Германию! Жизнь удалась, счастливая старость стоит на пороге, скрестив на груди узловатые руки.

Согрин взял с собой маленький календарик, блокнот и пачку акварельных карандашей.

Тридцать лет – приличный срок, это знает любой заключенный. Согрин, пусть и осудил себя самостоятельно, все же порой сомневался, а правда ли он любит Татьяну? На самом ли деле ждет, когда можно будет продолжить эту книгу, действие которой стихло на середине, на полуслове, в начале абзаца?

Иногда он всерьез думал, что любит вовсе не Татьяну, а Евгению Ивановну. Он заранее знал все, что она может сказать или сделать, но его это не раздражало, а успокаивало. Как полагается учительнице, Евгения Ивановна всегда четко понимала, что и зачем надо в этой жизни делать – не счастье ли, очутиться в зыбкие годы перемен рядом с таким человеком?

Но эти мысли были наваждением, ведь следом на Согрина обрушивались другие. Даже этот саксонско-бранденбургский вояж был до краев наполнен Татьяной, а радостный бас Евгении Ивановны, гудевший под ухом все десять дней,

Согрин воспринимал как одно из тех дорожных обстоятельств, примириться с которыми намного легче, нежели бороться. В Берлине супруги взяли на память по камушку из стены – их еще не начали продавать в сувенирных лавках. В Мейсене посетили фарфоровую фабрику – раскрасневшаяся Евгения Ивановна ужасалась цифрам, украшающим ценники пасторальных безделушек, а Согрина в тот день краски преследовали столь яростно, что он кроме них вообще ничего не запомнил. В Лейпциге супруги потратили все свои жалкие марки на шерстяное пальтецо для Евгении Ивановны и джинсы для Согрина. Наряженный в эти джинсы Согрин на следующий день подъезжал к Дрездену, рядом на автобусном сиденье похрапывала счастливая Евгения Ивановна, даже во сне крепко обнимавшая свою сумку.

Дрезден был черным, как будто вырезанным по трафарету: старинные замки, башни и дворцы не реставрировались долгие годы, и хотя многолетняя грязь глубоко пропитала некогда светлые стены, она не убавила им прелести. В черном городе краски-эринии стихли, а благодарный Согрин впервые понял, что можно влюбиться в город, как в живого человека. Уставшая Евгения Ивановна вечером осталась в гостинице, а Согрин, заранее печальясь о разлуке с Дрезденом, вышел на ясно освещенную улицу. Вскоре он уже стоял у главного входа в Земперопер, саксонский оперный театр, и думал, как хорошо,

что в кармане нет ни пфеннига. Нет денег – нет искушения.

Увы, не все в жизни измеряется деньгами, хотя, спору нет, мерка эта весьма удобна и заменить ее порой бывает нечем. Черные башни Дрездена, ранний закат – Согрин напоследок окинул всю картину памятливым взглядом художника, как вдруг его выдернули в реальность. Немка в красной шляпе и длинном, до самой мостовой, платье протягивала ему билет, да не один, а целых два.

– Кайн гельд, – сказал Согрин, неожиданно вспомнивший нужные немецкие слова. И потом еще добавил по-русски: – Извините.

Немка поправила шляпу, вытерла слезу перчаточкой, и Согрин тут же все понял. Он взял у нее билеты, и перед ними открылись золоченые двери, и только в партере громадного зала Согрин вспомнил, что не узнал имени дамы.

Ее звали Кэте, в зале погас свет.

В темноте Согрин попытался читать программку – бледно-голубую книжечку, которую купила Кэте. Увертюра была бесконечной, и Согрин, отчаявшись разобрать немецкие слова, озирался по сторонам. Кэте плакала, слеза повисала толстой каплей на кончике носа – тоже изрядно толстого. Согрин взял холодную руку немки, рассеянно погладил, отпустил. Справа от Согрина сидела благоухающая пара мужчин, пристрастия которых определялись безошибочно и сразу: оба одеты в дорогие костюмы и начищенные туфли (Согрин поспешно спрятал под кресло свои ноги

в разбитых штиблетах), держат друг друга за руки нежно, как молодожены. Увертюра еще не закончилась, когда эта парочка заснула и по очереди, не без мелодичности, всхрапывала.

Финского баса, который пел Голландца, вызывали несколько раз, у Сенты был мощный, стенобитный голос, но больше всего Согрина поразили здешний хор – такой многочисленный, что артисты с трудом умещались на сцене. Он по старой привычке начал искать среди хористок Татьяну.

В антракте Кэте купила шампанское, Согрину оно показалось кислым. Благоухающая парочка спала только во время спектакля, а в антрактах, напротив, оживлялась и красиво перемещалась по театру. Кэте не произнесла ни слова, но, к счастью, перестала плакать. Краски взбесились и гремели громче оркестра.

– Вас проводить? – спросил Согрин у Кэте, но она лишь улыбнулась ему на прощанье.

Согрин был рад, что немка уходит: чужая история, чужая слеза на носу – все это было ни к чему. Он быстро дошел до гостиницы, где в одиноком номере, пропахшем валерьянкой, плакала Евгения Ивановна: она решила, что Согрин попал под машину. Через час жена уснула и во сне горько, обиженно посапывала. Согрин убрал с маленького столика расческу с венчиком седых волос и раскрыл походный блокнот. Краски одобрительно загудели, и вскоре первая из них, золотисто-хрустальная, как оперная люстра, застыла на бумаге: Согрин начал рисовать.

## Глава 24

### ДОБРАЯ ДОЧКА

За «Набукко» следовал «Бал-маскарад» – и главную партию в премьерe вновь отдали Татьяне. Мать ворчала, довольно, впрочем, благодушно – все же, Татьяна была ей дочерью, Илья тратил гонорары на цветы и не пропускал ни одного спектакля, а вот о Согрине новоявленная солистка ничего не знала, даже афиши больше не проговаривались, хоть и написаны были, несомненно, той же рукой.

Оля, не проявлявшая прежде к опере ничего, кроме вежливой брезгливости, вдруг зачастила в театр, поначалу Татьяна приняла это на свой счет, но вскоре выяснилось, что дело вовсе не в ней. Девочка сидела рядом с Ильей и напряженно всматривалась в оркестровую яму, разглядывала трубача с ямочками на щеках. В антракте Оля подходила к яме опасно, как к краю пропасти, и впивалась взглядом в опустевший стул, в блестящее тело трубы, в растрепанные ноты... Как жестоко – не знакомить человека с собственным отцом! Татьяне стало жаль дочку, такую чужую и такую родную девочку, и однажды после спектакля она привела ее за кулисы. Музыканты разбегались поспешно, как тараканы из кухни, в которой включили свет, и Татьяна буквально за рукав поймала бывшего любовника. С годами он потяжелел, обмяк, и ей было неприятно думать,



что с этим человеком у нее одни на двоих воспоминания. Оля стояла поодаль, бледная и некрасивая, такими детьми не гордятся, обычно за них извиняются.

Трубач любезно склонился к Татьяне, от него густо пахло водкой. Девочка всхлипнула и сбежала, а ее мать, смешавшись, спросила у ее отца:

– Как дела?

«Бал-маскарад» ставил один из лучших художников страны – этот мастер обычно приезжал в театр за год до премьеры и все до последнего эскиза готовил сам. Валера Режкин, бывший друг Согрина и декоратор нашего театра, ходил за приезжим гением по пятам, помогал тому, где надо и где не надо, так что в итоге гений вежливо попросил оставить его в покое хотя бы на день. Валера мечтал однажды произнести такие же слова в адрес надоедливого провинциала: он примерял на себя статью и голос мастера, подражал во всем и в конце концов уговорил взять его на стажировку в Ленинград.

Был самый излет восьмидесятых – первые деньги, блузки с гренадерскими подплечниками, «Наутилус Помпилиус»... В оперном театре готовились к новому «Балу» и делали вид, что в стране не происходит ничего особенного. Спектакль выпускали долгих одиннадцать месяцев: за это время Оля отметила свой пятнадцатый день рождения, расцвела и влюбилась. Возможно, что она, как любой человек, чье половое созревание

совпало с половым созреванием страны, всего лишь перепутала любовь с желанием, а желание, чтобы тебя любили, с потребностью любить самой. Татьяна ничего не заметила, партия Амелии отнимала у нее слишком много времени и душевных сил, для того чтобы оглядываться по сторонам. Амелия знаменовала переломный момент на певческом пути Татьяны, она должна была навсегда вывести ее из хора и, возможно, привести из провинции в столицы. В театре говорили, что на премьере будут охотники за головами из Большого и Мариинки, им все уши прожужжали о дивной провинциальной сопрано. Красивая оперная солистка, как ни крути, редкость – голос все извиняет, но если к голосу полагается еще и достойная оправа, рост, фигура... Счастливая судьба Татьяны в нетерпении приплясывала, ожидая премьеры, что же до нашей героини, то она больше всего на свете мечтала уехать из родного города, подальше от согринских афиш и бесполезных, рвущих душу воспоминаний. Москва или Питер, ей было все равно.

Декорации получились строгими и сдержанными, на сцене царило всего три цвета – черный, алый и белый. Ничего лишнего и отвлекающего, как багет для бесценной картины, декорации всего лишь скромно расписывались в принадлежности к истории, но не пытались перетащить одеяло на себя. Валера Режкин чуть разума не лишился, когда увидел эту продуманную простоту, он всег-

да мыслил иначе, не жалел золота, вычурных деталей и завитушек, но мастер навсегда обратил его в минималисты. Для Риккардо привезли откуда-то из Европы специальный грим, костюмы заказали лучшему в стране театральному модельеру и залучили в оркестр того самого скрипача, на которого давно облизывался главный дирижер. За три месяца до премьеры все билеты были раскуплены, глава администрации города и глава администрации области заняли каждый по ряду, и директор распорядился поставить в партере дополнительные стульчики – на всякий случай.

Премьеру вначале назначили на субботу, 13 января, потом подумали хорошенько и перенесли на два дня вперед, общее суеверие перевесило соображения удобства. Накануне решающего понедельника Татьяна почти не спала: сначала ее бил нешуточный страх, а потом все вдруг показалось ненужным и суетным. В конце концов, какая разница, споет она эту Амелию или не споет, понравится столичным мэтрам или не понравится? Согрин никогда к ней не вернется, и на премьеру его не будет. Его никогда нигде больше не будет. О счастливой старости Татьяна и не думала, когда она еще придет, та старость? Татьяна взяла в руки пудреницу, пора было выходить из дому, грим сложный, займет много времени, а еще надо настроить голос, как музыкальный инструмент, настроить саму себя...

Когда она уже почти собралась с духом, с голосом, с мыслями, в комнату влетела дочь.

Татьяна никогда не видела Олю такой, в нее словно бы вдохнули разом те самые силы, которые с каждым днем по капле теряла Татьяна.

– Ты никуда не пойдешь! – заявила Оля. – Сегодня умер брат Ильи.

Бывший царь макулатурного киоска и нынешний директор издательства «Первопечатник» Борис Григорьевич Федоров скончался от инфаркта в своем кабинете, листы очередной рукописи валялись на столе, последние карандашные пометки (нервный знак вопроса, подчеркнутые строки) закончились ровной линией. Илья приехал после звонка плачущей секретарши и сам ужаснулся своей первой мысли: увидев мертвого брата, он подумал о том, что вечером не сможет пойти на премьеру к Татьяне.

В последнее время Борис Григорьевич много работал, *слишком много*, причитали сотрудники. Те силы, которые оставались, были изобильно растрачены недавним разводом, денег не хватало, конкуренты лезли из всех щелей. Но в семье Федоровых все были долгожителями, и смерть Бориса, которому лишь два года назад справили пятидесятилетний юбилей, казалась невозможной.

Илья звонил похоронным агентам, выбирал гроб, венки, костюм, заказывал ресторан для поминок, покупал водку гробовщикам и с каждой новой минутой жизни без брата чувствовал груз, упавший на его плечи. Груз, который будет с ним теперь всегда. Они мало общались в послед-

ние годы, Борис мог говорить только о бизнесе и в самую последнюю встречу обещал брату завязать с книжками и переключиться на гляцевые журналы. В стране тогда только начали появляться эти лощеные птицы в целлофане, в основном переводные и переосмысленные версии иностранных журналов. Красивая дева на обложке, половина страниц отдана на пожирание рекламе, статьи написаны непривычно развязным языком. После похорон Илья принялся разбирать бумаги Бориса и нашел папочку с подписанными документами, оформленными договорами, счетами: до выхода первого номера проекта, который брат держал в тайне от всех, оставалось четыре месяца. Илья связался с редактором, координаты которого нашлись у аккуратного Бориса Григорьевича все в той же папочке, и представился наследником. По завещанию весь бизнес брата отошел ему.

Татьяна на похоронах не была и даже не позвонила, Илья не мог на нее обижаться, но знал, что обидеться должен. Зато пришла Оля, и плакала громче всех, и держала Илью за руку, он впервые заметил, что руки у нее в точности такие же, как у Татьяны: сильные, узкие ладони. С Олей он сидел рядом на поминках и почему-то вспоминал не о детстве, не о макулатурной юности, не о тюрьме, а о том, что гроб для Бориса Григорьевича отыскивали с большим трудом. «Он у вас такой высокий!» – сказали в похоронном агентстве.

## Глава 25

### ОРЛИНОЕ ПЛЕМЯ

История Изольды, живи она в другие времена, могла бы стать хорошим сюжетом для оперы: здесь, думала Валя, есть и любовь, и рок, и трагедия. Теперь Валя смотрела на Лилию иначе, сочувствовала и по вечной своей привычке пыталась угодить – неуместная черта для оперной примы. Накануне премьеры Валя попросила Изольду показать фотографии той поры, но наставница пробурчала, что у нее не сохранилось ничего, кроме гигантского шрама в душе, который, впрочем, почти не болит, а только ноет время от времени. Тогда Валя вытащила из шкафа пачку маминых снимков и коробку с древними театральными программками.

Спустя годы в черно-белых карточках проявилось наконец настоящее чувство, с которым фотограф смотрел в объектив, Валя больше не пугалась этих снимков и почти не обижалась на мать. Интересно, что сказала бы мама, узнав, что ее Валя будет петь в опере?

Коробку старых программок Валя впервые обнаружила, еще будучи школьницей, когда Изольда только начинала приучать ее к театру. Потертые книжицы казались девочке серьезными документами, она перелистывала их с трепетом и честно старалась вникнуть в строгий язык сочинителя. Бедный сочинитель, думала теперь Валя, ему при-

ходило идти по узкой тропе между искусством и властью, где каждый неверный шаг мог стоить карьеры и свободы. Дикие времена, думала Валя, дикие времена, соглашалась Изольда, она никогда не забудет, как хористов спозаранок заставляли являться в театр на политучебу, за которой, как факультатив, следовала репетиция. Или как всех подряд отправляли по осени в колхоз, в результате чего балетные зарабатывали ревматизм, а хоровые теряли голоса.

– Это ужасно, потерять голос, – содрогнулась Валя, но Изольда спокойно сказала, что потерять в этой жизни можно абсолютно все, и голос – далеко не самое страшное в списке, уж пусть Валя ей поверит.

Валя не поверила. Расстаться с голосом для нее было равносильно тому, чтобы расстаться с любимым и очень дорогим человеком. В прошлом году Коля Костюченко послал Валю снять деньги из банкомата, обычно она бегала за угол, к гастроному, но в этот день там была слишком длинная очередь. Мороз разгулялся, как в детской сказке, и по дороге к другому банкомату Валя едва не задохнулась свежим ледяным ветром. Снежинки больно кололи пальцы, а застывшие буквы на мониторе просили прощения: «Банкомат временно не исправен». Валя затянула шарф на шее, покрепче сжала в кармане пластиковую карточку Костюченко, который, наверное, нетерпеливо приплясывает в буфете (новая буфетчица Марина в кредит не наливала), и побежала дальше,

к институту. Там ее встретили даже чересчур приветливо, банкомат попался на редкость общительный, расщебетался, задавал много лишних вопросов. Создавалась иллюзия полноценного разговора, но Валя уже так замерзла, что не могла над этим посмеяться.

Вернувшись в театр с пачкой денег, она почувствовала, что голоса нет.

– Не беда, – хохотнул Костюченко, принимая купюры. – Ты же не поешь!

Тогда еще никто ничего не знал, и как же хорошо, что все обошлось легкой простудой! Изольда, впрочем, рассердилась, как будто бы речь шла о ее собственном голосе.

В советском театре такую, как Валя, не потерпели бы, Изольда рассказывала, что внешность солистов значила в те годы очень много, и если девушка была не просто хорошей певицей, но и неплохо выглядела и при этом являлась комсомолкой или членом партии, то лучшего старта нельзя было придумать. «Для провинциального города, – распинался буклет, – где не было ни единого профессионального музыкального учреждения, создание оперного театра стало ярким событием. Но в условиях царской России театр, открытый в 1910 году, так и не смог стать подлинным очагом рабочей культуры».

Слово «очаг» покорило Валу, в нем звучало нечто инфекционно-медицинское и совсем не театральное. Дальше было еще хуже: «Второе



рождение театру принесла Великая Октябрьская социалистическая революция. Пришли новые зрители: рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция. Новое идейное звучание и реалистическое художественное воплощение на сцене получили многие произведения. Опера заслуженно стала называться театром пролетариата».

Сейчас никому бы и в голову не пришло сочинять такой бред, в программках пышно благодарят спонсоров, и только. На смену прежним, социалистическим бесам пришли другие, денежные. И вряд ли кто рискнет теперь поставить одну из опер тех лет: «Орлиное племя» Бабаева или «Тропою грома» Магиденко... Интересно представить, развеселилась вдруг Валя, как сейчас выглядело бы «Орлиное племя». Первое действие, картина первая: ночь, Каро охраняет колхозные амбары. «Раздаются шаги. Это председатель колхоза Рубен. Каро и Рубен – старые друзья, но недавно между ними произошла ссора из-за Маро, сестры Каро...» Ставили, шили костюмы, заказывали декорации, какое же это, наверное, было жалкое зрелище. Даже самая лучшая музыка, думала Валя, не может оправдать сюжет: «Появляются комсомольцы с пойманным Саркисом. Узнав об этом, из суда выбегают колхозники. Только теперь Шушан понимает, что она стала орудием в руках врагов».

Изольда отложила в сторону вышивку, к которой пристрастилась в последнее время.

– Я пела Маро, – сказала она.

– Вы были солисткой? А почему вы никогда не рассказывали?

– Нечего рассказывать... – Изольда вновь уткнулась взглядом в канву, где угадывался яркий букет частично вышитых подсолнухов.

Иголка взлетала вверх и пронзала ткань с такой яростью, что если бы та умела говорить, непременно взвизгнула бы от боли. Валя придвинула к себе корзинку со спутанными прядками мулине, Изольда никогда не разматывала нитки, а просто выдергивала их наобум. Сматывая желтые, белые, черные, оранжевые и зеленые нитки, Валя соображала, как бы уговорить Изольду рассказать всю историю до конца, пока она скорее угадывалась, чем была видна на самом деле: вот как эти недовышитые подсолнухи.

– И вообще давай-ка ложиться! – сказала Изольда, не глядя на Валю. Игла летала в воздухе, как пьяный самолет. – Завтра трудный день.

Валя послушалась, убрала в шкаф программки с фотографиями. Через полчаса она уже спала, а Изольда вышивала почти до самого утра. Первое, что увидела Валя в день своей премьеры, были яркие желтые цветы в зеленом горшке. Над самым крупным подсолнухом кружил полосатый шмель.

## Глава 26

### ОПЕРА НИЩЕГО

В первые после смерти брата дни Илья плохо понимал, что произошло на самом деле. Отчаяние, которое следует за потерей дорогого человека, дождалось своего часа и обрушилось на Илью, как крыша горящего дома.

Бориса не было на свете больше месяца, когда Илья вдруг перестал спать ночами и понял, что все его сочинения превратились в то, чем, может быть, только всегда и были, – нечистую бумагу. «Такая даже в сортире не пригодится», – злился Илья, собирая черновики по всем комнатам, выживая их с дальних полок. Сколько времени было потрачено на эту писанину, ради чего? Ради того, чтобы несколько тысяч случайных чужих людей прочли его книгу и один из всех выцедил бы похвалу? Или ради того, чтобы оправдать свое присутствие в мире? Так вроде бы не надо оправдываться, жизнь не покупают, а дарят, не спрашивая мнения получателя. Вместо того чтобы сочинять истории, Илья должен был помочь единственному родному человеку на земле... Брат все и всегда держал в себе, но он-то, младший, сильный, здоровый, мог бы понять, что помощь нужна Борису куда больше, чем Татьяне, рядом с которой он вообще ни о ком не вспоминал.

Илья знал, что не сможет долго сердиться на Татьяну. Как можно сердиться на тех, кто

по-настоящему любим? И как можно было оставить Бориса наедине с миром, о подлости которого в детстве ни один из них не догадывался?..

Илья не был особенно близок с братом и только после смерти его понял, что если кого и любил без оговорок и сожаления, так это Бориса – надежного и, казалось, вечного. Он приходил на могилу к брату, вставал в изголовье и долго рассказывал Борису о том, что ему могло быть интересно, – о новостях в издательстве, о первом номере долгожданного глянцевого журнала, названного без затей «Анюта».

Венки были засыпаны снегом, черные ленты с золотыми буквами напоминали ленты матросских бескозырок... Борис строго смотрел на брата с фотографии. «Держись, Илюха, – сказал он однажды, не шевеля губами. – То ли еще будет!» Илья отпрянул, спугнув ворону и собаку, которые битый час караулили подношения и теперь уносили ноги несолоно хлебавши. Машина, доставшаяся Илье вместе с прочим наследством, темнела за воротами кладбища, он побрел к ней по высоким сугробам.

Теперь Илья ясно видел таких же людей на улице, в магазине, в собственном дворе. Горе открыло ему дверь в мир несчастных и осиротевших, прежде он не мог читать их лица, а теперь не успевал считать их. Только они и смогли бы понять, как ему не хватает Бориса... Илья хватался за телефонную трубку и отшвыривал ее в сторону, вспомнив, что звонить некому. Подарки

и книги брата постоянно попадались под руку, а хуже всего было с фотографиями, Илья так упорно и долго всматривался в лицо брата, что на нем появлялась улыбка.

Он готов был забросить журнал, продать издательство и вернуться к своим бессмысленным творениям.

– Когда-нибудь привыкнешь, – сказала Оля. – Сможешь с этим жить. Болеть не перестанет никогда, но это будет уже совсем другая боль.

Оля каждый день приходила к нему в офис после школы. Рослая, крепкая, румяная. Ямочки на щеках. Секретарша ревниво сжимала губы, девочка здоровалась с ней вежливо и отстраненно.

– Как мама? – спрашивал Илья.

Оля пожимала крепкими плечиками:

– Она сама тебе расскажет. Если захочет.

Илья не мог вспомнить, когда это Оля перешла с ним на «ты».

Наконец пришел день, в который Илья так сильно захотел увидеть Татьяну, что не мог больше ждать ни минуты. Оля сказала, что вечером дают «Онегина», но кое-что изменилось, и пусть он не удивляется. Илья не понял, переспросил, но Оля, посмотрев ясным взглядом, повторила:

– Она сама тебе расскажет. Это меня не касается.

И пошла, размахивая школьным, совершенно детским портфелем.

Апрель выкрасил улицы в однородный серый цвет, субботников теперь больше никто не

устраивал, и город погрузился в глубокую грязь российской весны. Брюки, ботинки, полы пальто – все было заляпано свежей сочной грязью, и театральная контролерша посмотрела на Илью с осуждением. Он тут же отправился в уборную, долго приводил в порядок обувь, чистил брюки, потом зачем-то погладил себя по лысине. Вспомнил Бориса, точнее, в очередной раз не забыл о нем. И поспешил в зал, звонки гремели, как в средней школе.

Татьяну он увидел сразу – осунувшееся лицо, платок крестьянской девушки, задний ряд хора.

## Глава 27

### ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ

В начале спектакля голоса часто капризничают, но в этот раз дирижер нарадоваться не мог на солистов – и Ричард, и Ульрика, и Оскар ни разу не ошиблись, не завысили и не занизили ни одной ноты. Амелия, та будет лучше всех, и правда, как они могли так долго продержаться ее в хористках? Дирижер спиной чувствовал, как москвичи с ленинградцами замерли на своих местах. Переманят девку, точно переманят, он думал об этом без особой грусти. Все привыкли к тому, что если провинциальная солистка хотя бы немного выделяется среди прочих, дорога ей – на главные сцены страны. Для нас она слишком хороша, думал дирижер, готовясь ко второму действию. Зал полнехонек, смотреть приятно. Эти глаза, аплодисменты, живое тепло зрителей, все мы, от монтировщиков и уборщиц до солистов и дирижеров, приходим в театр только для того, чтобы насытиться этим теплом. Дирижер обвел оркестр суровым взглядом, кивнул и поднял палочку. В полях Бостона настала ночь.

«Бал-маскарад» давали на итальянском, и это была новость для города, непривычного к таким штукам. Теперь подобным вывертом не удивишь, но и вкусы публики не меняются: лучше бы на русском пели, ворчат и в партере, и в ложах. Оригинальным звучанием наслаждаются

критики и музыкальные гурманы, те упиваются итальянскими словесами, сплетенными в кружевное полотно дуэтов и арий.

Татьяна почти не знала итальянского, но способности к языкам имела приличные, легко запоминала чужие слова. Лет пять назад во всех магнитофонах и проигрывателях СССР царили сладкошлепы из Сан-Ремо, по всей стране разливались соловьями Аль Бано со своей красивой женой, демонический Тото Кутуньо, а еще Риккардо Фольи, «Рикки и Повери», Пупо... Оля заказывала в грамзаписи тонкие голубенькие пластинки с одной-единственной запиленной песней и потом допиливала ее на домашнем проигрывателе: «Si e no, si e no, perché, perché, perché»... А Татьяне итальянская эстрада нравилась тем, что немудреные тексты запоминались без особых усилий. Партию Амелии она выучила быстро и суфлершу слушала в пол-уха.

Но не в день премьеры... Едва появившись во втором акте, Амелия напрочь забыла слова. Спасибо суфлерше и вовремя вступившей, фактически спасшей Татьяну Ульрике... Потом Амелия запнулась за левую ногу и едва не упала, к счастью, дирижер ничего не заметил. К счастью ли? Всякому известно, что запнуться на сцене означает закат карьеры и конец прочим чаяниям.

Второе действие «Бала» полностью держится на Амелии, но когда Татьяна открыла рот, чтобы спеть «Ессо l'orrido campro», из ее груди исторгся силпый, жалкий крик. Голос, как и Согрин, выбрал не самое подходящее время для прощания.



– Сколько лет работаю, никогда такого не видел! – сказал московский охотник за головами.

Ответом ему был еще один сильный крик. Дирижер стал красным, как ленинское знамя, за сценой уже стучали каблуки ведущей, срочная замена! Татьяна нелепо поклонилась, согнувшись пополам не как артистка, а как монашка. Это была панихида по голосу. Похороны карьеры. Погребение мечты.

В пустой гримерке Татьяна сняла парик и платье, ей хотелось как можно скорее избавиться от чужих тряпок. Кто-то вбежал в гримку, стянул платье со спинки стула, прихватил парик – пять минут, и на сцене появится новая Амелия. Спектакль продолжается, show, как всем известно, must go on.

Татьяна сидела перед зеркалом в одной комбинации и разглядывала свое лицо. Теперь ей нечего больше ждать от жизни, та, как воровка, отняла у нее вначале любовь, потом – дочь и друга, а теперь еще и голос. Остались лицо с пустым взглядом, холодная гримерка и приказ об увольнении, который наверняка уже мысленно подписал директор.

Она закрыла глаза на секунду и потом снова уставилась в зеркало. Там разгоралось огненное сияние, в конце концов оно вспыхнуло, ослепляя, и Татьяна лишилась теперь уже всех чувств разом.

Ее нашли в гримерке раздетую, бесчувственную, жалкую.

В свои пятнадцать лет Оля была на полголовы выше Ильи. Юная, с прохладной кожей, яблочным дыханием, наверное, очень красивая, но для Ильи она была ребенком. К тому же ребенком Татьяны.

– Я люблю тебя, – заявила Оля. – И мы обязательно поженимся, даже можно не ждать, пока я закончу школу. У нас одна девочка из 10 «А» вышла замуж, потому что забеременела.

– Но я-то не люблю тебя, – сказал Илья. – Я всегда буду любить твою маму. И у меня столько тараканов вот здесь. – Илья постучал по лысине костяшками пальцев. – Зачем они тебе?

– Мне нужны твои тараканы. Их я тоже люблю.

Илья подумал, что эти тараканы будут потом бегать за ней по всему городу.

Только спустя годы Оля призналась, что сказала обо всем матери накануне премьеры «Бала», когда никакого разговора между ними еще не было. Вообще ничего не было, но Оля заявила, будто бы вопрос уже решен, и летом будет свадьба.

Нельзя же сразу – и свадьбу, и похороны.

## Глава 28

### РАФАЭЛЬ

Евгения Ивановна сердилась. Вместо того чтобы обсуждать грядущие сельхозработы на крошечном участке земли, вырванном у государства под занавес эпохи, муж не отходил от мольберта, на скорую руку поставленного в гостиной. Ей не нравилось настроение, витавшее в доме: она и позабыла, как это неудобно – жить рядом с творцом. С легкой руки Евгении Ивановны Согрин давно преподавал в ее школе изо с черчением в свободное от афиш время. Слово «изо» раздражало Согрина, поэтому он старомодно называл свою дисциплину рисованием и требовал от детей таких изобразительных подвигов, что некоторые наивные родители всерьез просили у директрисы защиты от учительского произвола.

– Что это? – с омерзением спрашивал Согрин, держа детский рисунок двумя пальцами, как чумную крысу. – Что вы хотели этим сказать?

Рисунок был как рисунок. Красные флаги, демонстранты, аромат эпохи. Мазки неумелые, краски грязные, но ведь это школа, а не Академия художеств. Автор, десятилетний мальчик, поднимался с места, щеки его алели, как те самые флаги.

– Так рисовать нельзя. – Согрин нависал над мальчиком, словно утес над морем. – Уж лучше совсем не рисуйте.

Мальчик поднял на него глаза, голубые с серыми и черными крапинками. Голубая краска спикировала на парту, Согрин ловко поймал ее, сунул в карман и вернулся к доске.

– Придурок, – негромко сказал мальчик, и его соседка по парте согласно кивнула.

Дети не любили Согрина, зато боялись до рези в животах. У одной девочки даже открылась язва, после того как учитель высмеял ее чертеж.

На уроках Согрин всегда говорил очень тихо, и Евгения Ивановна замирала от удовольствия под дверью кабинета рисования – дисциплина не хуже, чем у прославленной математички-самодурши Лидии Васильевны. К той дети шли, как на казнь: у девочек глаза были на мокром месте, у мальчиков дрожали руки. К Согрину ученики приходили, как на *публичную казнь*, он никогда никого не хвалил, зато критиковал детские работы обстоятельно и злобно. И это ледяное «вы» входило в сердце стальной занозой... Самыми высокими оценками, которые ставил в школе Согрин, были четверки с двумя минусами – их получала девочка Оля из девятого класса. Согрин узнал эту Олю еще до того, как заглянул в журнал и обжегся взглядом о любимую долгожданную фамилию. Оля напоминала Татьяну общим очерком, манерой улыбаться уголками губ и теревить рукава, уродливый школьный пиджачок тут же превращался в концертное платье, в волосах зажигались светлячки, Согрин не мог спокойно смотреть на Олю и потому возвращал ей работы без всяких

комментариев, с самыми высокими, по своим меркам, оценками. Впрочем, Оля и вправду чертила недурно, у нее было и чувство пропорций, и твердая рука.

Согрин преподавал тогда всего лишь первый год, в его письменном столе были надежно заперты семь исчерканных календарей. Пятнадцатилетняя Оля не узнала бывшего любовника матери, но Согрин опасался, что они могут столкнуться в школе с Татьяной. Зря опасался, потому что Татьяна была в школе всего два раза – Первого сентября в первом классе, и потом ее однажды вызвали побеседовать о поведении Оли, но Татьяна не смогла вспомнить, в каком классе учится дочь, и ушла домой, так и не повидавшись с разгневанными педагогами. Оля, как ни странно, была благодарна матери за это небрежение, она и сама терпеть не могла школу, хоть и училась на пятерки. Евгения Ивановна, с которой Оля несколько раз имела радость объясняться по поводу чисто символических юбок и намазанных ресниц, не догадывалась, с кем говорит, но ненавидела девочку так яростно, словно была всесторонне осведомлена.

Олю было легко ненавидеть, ранняя женственность, быстрый ум, да еще эта дерзкая юбочка... Учительский состав единодушно считал, что толка из этой девочки не выйдет, к тому же родительнице было на нее откровенно наплевать, да и бабушка-артистка приходила на собрания как из-под палки.

Согрин же, убедившись наверняка в том, что Оля его не помнит и не вспомнит, начал вести себя, как венецианский муж в полумаске, наслаждаясь возможностью наблюдать за девочкой, которая даже и не догадывалась, кого этот сушеный чертежник видит на ее месте. На уроке, раздав детям задания, Согрин смотрел на Олю и узнавал светлые завитки за ушами, мягкую беззащитную улыбку, все то, что помнил и любил в Татьяне. Отцовское наследство, «метки трубача», он с удовольствием стер бы с лица девочки – густые азиатские брови, темный румянец, тяжеловатый подбородок были здесь лишними, Согрин мог бы подтвердить, как художник, но, увы, дорога к этому холсту была для него закрыта. Оля много раз ловила на себе внимательный взгляд чертежника, но он так быстро отводил глаза, что девочка не успевала об этом задуматься. Как ни странно, учитель ей нравился, в нем было много того, что не вписывалось в режим и правила, и на фоне грозной каркающей стаи учительниц в пропотевших кофтах Согрин выглядел человеком из обычной жизни, не стянутой рамками методики и дисциплины. Евгения Ивановна раздражала Олю намного сильнее, она была учительницей в самом худшем, советском, скомпрометированном смысле слова, а директорство добавило к портрету еще более противные оттенки. Эта маленькая круглая женщина обладала непревзойденно цепким захватом, она могла поймать за руку любого переростка-старшекласника и не отпускать,

пока тот не выслушает всю ее речь до последнего слова. Олю передергивало при одной мысли об очках директрисы, по отпечаткам пальцев на которых можно было изучать дактилоскопию, и как только в коридоре раздавался трубный голос, и следом за ним, чуть запаздывая, являлось бесшумное платье елового цвета, Оля дрожала от злости, главное, чему ее научили в школе, были уроки ненависти.

Согрин, шпионя за Олей, думал о том, как сильно ему хочется увидеть Татьяну, но отведенное ангелом время не вышло: это были не песочные часы, которые можно переворачивать по собственному желанию, а самое настоящее, неподкупное время... На уроке в пятом классе Согрин еще раз повстречался с тем ангелом, он сидел в третьем ряду, за партой у окна. Перед ангелом лежал раскрытый альбом, вокруг жужжали и носились тысячи красок, особенно много было жемчужных, золотистых, бледно-розовых оттенков. Ангел принял облик пятиклассника, того самого, с глазами в крапинку, но Согрина нельзя было обмануть, он сразу узнал и усталые глаза, и ленцу, с которой ангел озирался по сторонам, а еще в классе вдруг густо запахло лавандой. Ангел медленно опустил кисточку в банку из-под майонеза и долго разглядывал синие клубы, закрашивающие воду. На чистом листе дрожала голубая мутная капля, обычно Согрин сразу ставил за такие вещи двойку, но тут промолчал и сам застыл рядом. Ангел поднял глаза

и погрозил Согрину пальцем, обыкновенным мальчишечьим пальцем: грязным, в бахrome заусенцев. Золотисто-черная краска ослепила Согрина, следом за ней грянул школьный звонок, ни единым звуком не отличавшийся от театрального.

Оля окончила школу, и больше Согрин ее не видел, на выпускной он прийти не отважился, хотя фотографию того класса для себя заказал: Оля вышла на снимке лучше всех. Сам же он и двадцать лет спустя работал в той же школе; ученики его теперь не боялись, потому что родители жаловались новой завучихе, и Евгении Ивановне стоило большого труда сохранить мужу место. Они ушли на пенсию в один день – Евгения Ивановна грезила своим приусадебным участком, а Согрин вдруг снова начал рисовать.

И Евгения Ивановна сердилась. Она не понимала, зачем было под старость лет будить в себе творческого демона, Рафаэля из Согрина теперь уже точно не получится, а терпеть всю эту яркую грязь в квартире, это безмолвие, в которое погружался муж, у нее просто не хватало нервов. Евгения Ивановна злилась, но Согрин этого не замечал. Он рисовал с утра до ночи, и когда жена возвращалась поздним вечером с участка – с черными земельными морщинами на ладонях, с тягостной болью в натруженной спине, он стоял у мольберта в той же позе, в какой она оставила его утром. Мольберт, впрочем, Согрин тут же целомудренно прикрывал тряпицей, и, разумеет-



ся, Евгения Ивановна улучила однажды минутку и эту тряпицу сдернула.

Полосы, мазки, пятна разных цветов, разбросанные в беспорядке по холсту, – идея не читалась, и никакой картины там вообще как будто не было.

## Глава 29

### ДЕВУШКИ НА ГАЛЕРЕ

Обморок в гримерной спас Татьяну от увольнения: тогдашний главреж был человеком куда более добрым, чем полагается руководителю, кроме того, он питал слабость к удачным мизансценам. Зрелище полуобнаженной бесчувственной солистки так вдохновило режиссера, что он попытался запомнить эту сцену, дабы воссоздать ее потом в какой-нибудь постановке (и, что интересно, воссоздал – десять лет спустя, когда ставили «Трубадура», Азучена лежала на сцене в такой же точно позе). Татьяну не уволили, хотя она загубила премьеру и опозорила наш город на всю страну, но великодушный главреж всего лишь перевел ее в хор на полставки.

Хористки встретили Татьяну без особой радости, но хотя бы молчали, на том спасибо. Илье тоже спасибо, что не приходит, думала Татьяна, она не представляла, как и о чем они смогут теперь разговаривать.

Оля стерла с фотографии налипший снег и вздохнула:

– Какой же он красивый!

Илья обрадовался, что Оля не сказала «был красивый». Сам он продолжал думать о брате только в настоящем времени и до конца не мог поверить, что Борис лежит здесь, в земле,

а не уехал куда-то. Борис и правда был красивый, Оля не кривила душой. Глядя на эту ясную сильную девочку, Илья снова принялся рассказывать, как тяжело ему жить без брата и как часто он думает о том, что ему *стыдно* без него жить. Он ведь даже чаю себе не может налить без того, чтобы не чувствовать себя предателем, вместо того чтобы тосковать о брате, пьет чай, пишет статьи, *живет* самым бессовестным образом.

– Это глупо, – сказала Оля. – Главное, ты помнишь о нем, а чай можно пить и без угрызений совести.

Оля улыбнулась, на левой щеке у нее появилась ямочка. Илье отчаянно захотелось поцеловать эту ямочку.

– Надо, наверное, зайти к вам, – промямлил он. – Поговорить с мамой, бабушкой.

– Надо, – кивнула Оля.

– Она обязательно окончит школу, что я, по-твоему, идиот? Или сволочь?

– Идиот и сволочь! – кричала Татьяна. – Как ты мог, Илья, как ты мог? Она же маленькая, она ребенок, а ты...

– Я не ребенок, – вмешалась Оля. – И ты, мамочка, помолчала бы. Ты о моем существовании вообще не вспоминала в последние пятнадцать лет.

– В чем-то она, безусловно, права, – сказала бабушка.

Они сидели в кухне, Илье разрешили курить прямо здесь. Оля подносила ему зажигалку, наливала чай и заглядывала в глаза испуганно и завороченно, как в пропасть.

Татьяна смотрела на Илью, видела его блестящую лысину, бликующую, ликующую и глянцевую, как обложка его нового журнала. Она не видела ничего, кроме этого веселого, праздничного блеска, смотрела не отрываясь и думала: «Бедная моя Оля. Бедная моя девочка».

Давным-давно Согрин целовал заплаканную Татьяну и удивлялся:

– Слезы соленые – как у всех?

И обнял, как будто взял в раму.

Теперь она плакала рядом с тремя самыми близкими и самыми чужими в мире людьми. Она плакала, и Оля, глядя на нее, догадалась, что сильный смех и сильные рыдания превращают лицо человека в одну и ту же маску.

Летом Илья женился на Оле и увез ее в Петербург, где с каждым месяцем толстело и дорожало его глянцевое детище, теперь «Анюта» выходила и там. Реклама не помещалась в журнал, приходилось добавлять все новые и новые страницы, так что каждый свежий номер напоминал «Капитал»: убить не убьешь, но оглушить можно без труда. Вскоре у толстой многостраничной «Анюты» появилась сестричка – кругленькая белокожая Лилия, в младенчестве абсолютно лысая и похожая этим на папу.

С возрастом меняется и человек, и его имя. Татьяне досталось сложное отчество – Всеволодовна, и теперь ей приходилось терпеливо выслушивать, как спотыкаются на нем окружающие: Вселодововна. Вседоволовна. Всемдвовольна...

– Татьяна Всеволодовна, распишитесь в ведомости.

– Татьяна Всеволодовна, вот ваш костюм.

– Татьяна Всеволодовна, вы хорошо себя чувствуете?

Она старалась не думать о старости и, как любой пока еще далекий от этого состояния человек, считала, что старость сходит, как лавина: однажды ты просыпаешься утром и видишь в зеркале уродливую морщинистую маску. Но нет, эти войска подтягиваются медленно, устраивают лазутчиков на ночлег, внедряют шпионов, в общем, делают все, для того чтобы человек смог привыкнуть к первым приметам старости, признать их своими и даже полюбить. Вся эта премудрость постигается, лишь только перевалишь за первую половину жизни, и Татьяна принаравливалась к старости, принимала ее приветы, как малые дозы неизбежного яда. Узор из морщин (маленькая Оля говорила подругам: «У моей мамы еще ни одной морщинки *не выросло*»), мертвые яблочки локтей, голубые венные графики, вдруг засветившиеся под кожей ... Тут еще и немолодые люди, солидные мужчины и зрелые женщины, начинают говорить тебе уважительное «вы» или же, напротив, подчеркивают равенство: «Зови меня

просто Наташа». И вместо прежнего «Прекрасно выглядит» получаешь выстраданный комплимент: «Для своих лет она в прекрасной форме».

Мама Татьяны, согласилась наконец уйти на пенсию – серьезные роли были ей теперь не по возрасту и не по силе, а в хор она не согласилась бы перейти ни за какие коврижки. «Еще чего!» – самодовольно передергивала она пусть и полноватыми, но *для своего возраста* очень даже аппетитными плечиками. Выход на пенсию мама обставила с помпой: был заказан банкетный зал в ресторане, и каждый из ныне живущих поклонников получил отпечатанное золотыми буквами по черной бумаге приглашение «проститься с артисткой» (мама всегда любила сомнительный юмор). В костюме, отороченном страусовыми перьями, под килограммом макияжа, мать расточала дивные, как ей самой казалось, улыбки. Гости быстро перетекли в танцы, и лишь один гражданин, очень плохо одетый и не менее скверно выглядевший, с верностью старого пса пытался вернуть общий интерес к героине вечера, которая, впрочем, не обращала на него внимания, отплясывая с незнакомцем: на вид тому сравнялось не более двадцати пяти. Возможно, он просто хорошо сохранился, утешала себя Татьяна. Она еще не знала, что этот жуткий вечер вскоре будет вспоминаться с умилением, ведь настоящий ужас только изготавливался к прыжку.

Мама, вырванная из живой среды театра, была как орел с подрезанными крыльями или рыба,

угодившая на берег. Теперь она мучила Татьяну подробными расспросами о каждой репетиции, о любой сплетне, обо всех театральных делах и жила только этими новостями. Ухажеры исчезли вместе с маминой молодостью, всего за месяц она превратилась в самую настоящую старушку: можно было спеть графиню без всякого грима... Татьяна не узнавала эту старушку, странная и тихая, она подолгу сидела в своей комнате, а потом вдруг начинала судорожно наряжаться, накладывать грим, завешивать шею жемчугом. «И как же все разряжены, – громко напевала мать. – Чего уж тут не было! И бархат, и атлас. Что жемчугу на Колтовской одной...» Нарядная мать сновала по квартире, а потом вновь замирала и молчала, молчала, молчала... Синдром навязчивого переодевания завладел ею настолько, что прежде чем выйти из дому, мать по нескольку раз переодевалась, то говорила, что туфли не подходят по цвету к шарфику, то заявляла, что юбка жмет. Мать надевала и Татьянины вещи, хотя они были ей узки, упорно втискивалась в джинсы, душилась дочкиным «Poison» (он едко звучал на ее коже) и залихватски улыбалась мрачным соседям, предпочитавшим не тормозить рядом с ней дольше, чем на минуту. В театр мать больше не ходила, говорила, что не хочет, но это была ложь. Там, в театре, прошла вся ее жизнь, а этим обмылком, старостью, она совсем не дорожила. И умерла поэтому совсем скоро, не прошло и года, как почти тот же самый коллектив дружно ронял слезы на

похоронах, и незнакомый юноша бережно опу-  
скал к изголовью могилы дорогой букет алых роз.

Когда мама умирала, Татьяна впервые узнала ее настоящую – вот так люди притворяются всю жизнь и только в глубокой старости или на смертном одре начинают порой говорить правду. Мама как будто смыла наконец свой вечный грим и обрела собственное лицо. Она не узнавала Татьяну, изумлялась этому имени и вообще не помнила ничего, кроме одного-единственного какого-то бесконечного спектакля. Волновалась, спрашивала, готов ли костюм и почему до сих пор не пришел Евгений? Татьяна не представляла, кто этот Евгений, у мамы не было знакомых с таким именем, если только очень давно... Неужели, пугалась Татьяна, это «давно» было самым важным? Почему не пришел Евгений, спрашивала мама и обиженно смотрела мимо Татьяны, видимо, за всю свою жизнь она так и не смогла понять, куда делся этот человек. И простить его она тоже не сумела.

Похоронив маму, Татьяна почти каждый день приходила к ней на могилу и стояла там, как часовой, будто ждала ответа. Старое кладбище, крапива в человеческий рост, комариные облака. Недалеке высился мраморный памятник – Татьяна пригляделась и узнала фотографию царя Бориса Григорьевича. Как много чудес в жизни, грустно думала она, только глупцы их не замечают и считают игрой случая. Она собрала засохшие цветы с могилы Бориса, стерла пыль, отряхнула паутину с памятника. Изящный барельеф – раскрытая



книга. Татьяна усмехнулась, вспомнила – «Него же лилиям прясть». Все изменились – она сама, Борис Григорьевич, Илья, Оля, все стали теперь другими, и от того времени уцелели только искаженные воспоминания. У каждого свои.

*Зять* писал Татьяне длинные письма, как много лет назад, из тюрьмы. Письма его нравились ей больше, чем он сам: узкие четкие буквы не вызывали ни злости, ни раздражения. Почерк, голос по телефону, непривычная нагота – все это сбивало Татьяну с толку: голос трубача и голый трубач – это были словно бы разные люди. Почерк Ильи и сам Илья не имели между собой почти ничего общего. И только Согрин, один из всех, не раскладывался на составляющие, но всегда оставался монолитным, целым, самим собой.

Илья рассказывал, что теперь не пишет прозу, он терял интерес к написанному куда быстрее, чем мог этого ждать даже от самого ленивого читателя. Олин муж перешел в мир глянца и подробно описывал Татьяне последствия своего раздвоения, в глубине души Илья все еще оставался писателем, но на поверхность всплывали только статьи, одна глупее другой. «Если верить статистике, – жаловался Илья, – большинство наших читательниц – алчные самки, которых интересуют лишь секс и деньги». Он рассказывал Татьяне о размеренности глянцевого года: к Новому году журнал готовился в октябре, весну начинал зимой, а осень – летом. Рождество, День святого

Валентина, Восьмое марта, летний отдых, свадьбы, бизнес-номер для осени – вечный гляцевый круг.

О семье Илья упоминал редко. Оля не писала матери совсем и на похороны бабушки не приехала, впрочем, у нее была уважительная причина: грудной цветок лилии на руках. Татьяна пела, старела, читала, а потом в соседней квартире повесилась пьющая хозяйка – бывшая студентка архитектурного института, в компании которой Оля проводила несчастливые дни своего детства. У нее осталась маленькая дочь Валя, существо некрасивое и робкое: глядя на нее, Татьяна впервые ощутила настоящую боль в сердце и решила забрать к себе девочку, такую же несчастную и одинокую, как она сама.

## Глава 30

### ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Согрин был готов к долгим поискам и не надеялся сократить их до нескольких часов. Ни одно событие последних тридцати лет, даже такое, как развал страны или смерть Евгении Ивановны, не значило для него так много, как грядущее, вот уж воистину что *долгожданное* свидание. Он обязательно найдет Татьяну. Где бы она ни была, какой бы ни стала.

Программка шелестела, дрожала в руках, чтобы успокоиться, Согрин начал в упор разглядывать оркестрантов, занимавших места в яме. Ни одного знакомого лица. Лихая черная краска отскочила от фрака тромбониста и влетела Согрину в глаз злой мухой. Он достал из кармана блокнот и прихлопнул краску страницами, та пискнула и смолкла. Свет в зале медленно таял, зрители отключали мобильники, в яму шествовал статный седой дирижер.

– Болят мои скоры ноженьки со походушки... – тенор за сценой пел во весь голос, а хорошие в последний раз поправляли наряды.

Минуту назад Валя стояла рядом с любимой своей скамеечкой, пытаясь согреть заледеневшие пальцы, а теперь они с Ольгой и Лариной были на сцене, Валя чувствовала взгляды зрителей и старалась не смотреть в зал. *Татьяна – сфромница, глядит долу – все правильно.*

– Скоры ноженьки со походушки-и-и... – хор вышел на сцену, Изольда незаметно взяла Валу за руку и на миг крепко сжала холодные пальчики.

– Болят мои белы рученьки со работушки...

– Белы рученьки со работушки...

Веранда смотрела спектакль из царской ложи, слева от нее сидел мэр города с супругой, справа – Сергей Геннадьевич. Мэр, опрятный сутулый старичок, сладко заснул еще во время увертюры, и супруга злобно пихала его в бок.

Главреж сцепил пальцы в замок и нервно хрустел теперь этим замком: Веранда подумала, что надо будет отучить его от неприятной привычки. Талантливый человек, а вести себя красиво не умеет. Впрочем, сейчас Веранда готова была простить Сергею Геннадьевичу любые недостатки – он выстроил такую мизансцену, что Валины внешние... м-м-м... особенности выглядели, как вполне допустимая по отношению к великой опере вольность. Девочка не терялась на фоне других солисток, это они оттеняли ее. Веранда еще раз похвалила себя за то, что перед началом заглянула за кулисы и заставила няню (Леду Лебедь) снять туфли на каблуке и обуть плоские балетные тапочки.

Мэр, усыпленный дивной музыкой, спал, как малое дитя. «Устал за день, – посочувствовала Веранда. – Тоже работка у него...» Она представила себя на месте мэра, прикинула плюсы и минусы. Нет, в театре спокойнее будет!

– Как я люблю под звуки песен этих мечтами уноситься куда-то далеко... – Голос Вали звучал так красиво и сильно, что зрители начали аплодировать после первой же фразы.

Мэр испуганно вздрогнул и проснулся, облизывая губы, на сцене няня с сожалением шепнула Лариной:

– Да, голос у нее не отнимешь.

В противном случае Лебедь непременно это сделала бы.

Слева от Согрина сидел явный меломан – он произвольно дирижировал пению. Так бывалый водитель, сидя на пассажирском месте, помимо желания вдавливать в пол несуществующие педали. Справа расположилась дамочка, уже несколько раз уколотившая Согрина травой из букета. Было слышно, как за сценой туфелька хормейстерши отбивает ритм в сложных местах. Дирижер размахивал руками, как крыльями, и его широкая тень плясала на балконах бенуара. Татьяна пела маленькая тщедушная женщина, почти что карлица. Согрину вначале показалось, что это ребенок, но голос у странной солистки был не по-детски сильным. Зал, как море, волновался при каждом новом слове, слетавшем с ее губ. Согрин надел очки, заглянул в программку – если верить небрежному карандашному уточнению, главную партию исполняла некая В. Бывшева. Фамилии Татьяны в программке не было, да Согрин и не надеялся ее увидеть. Глупо рассчитывать на

стремительную встречу. Впрочем, «Онегина» он все же дослушает до конца.

Жизнь, как видеоманитофон, сделала долгую перемотку, тридцать лет назад он точно так же смотрел на сцену, пока хор, не торопясь, покидал ее...

Последней со сцены уходила Татьяна, Сोगрин встал с места и вскрикнул, но, к счастью, в тот самый момент запела Ольга, и на странного старика обратили внимание только соседи – дамочка еще раз кольнула его травой из букета, а знаток оперы осуждающе шикнул.

Но разве это было важно? Главное, Сोगрин нашел Татьяну, и она совсем не изменилась, будто и не было этих тридцати лет! Время ничего ей не сделало, не коснулось лица, не задело фигуры, и даже взгляд ее – главная подсказка! – был взглядом совсем еще юной женщины.

Вот что успел заметить Сोगрин, а теперь ему надо дожить до конца первой картины, слушая нудные объяснения Ленского и Ольги. Потом будет сцена письма, и только в начале третьей картины на сцену снова выйдет хор.

Странно, что люди, которых мы знали в прошлом, тоже меняются с годами, а не застывают, как нам бы того хотелось, в знакомом и неизменном виде. Это открытие вызывает желание запихнуть давно не виданного знакомца в прежний образ: уж лучше вообще не встречаться, чем наблюдать перемены! Лучше так, чем наблюдать,

как на угодные сердцу давние воспоминания накладываются новые краски.

Оля сидела в третьем ряду и с самого начала спектакля не могла удобно пристроить букет в пышной целлофановой юбке. Она переводила взгляд с дочери на мать и обратно, и ей очень хотелось курить. Сколько же лет они не виделись с мамой? Не меньше двадцати, просто мушкетеры какие-то, прости Господи! Букет снова выскользнул из Олиных рук, задел старика в соседнем кресле. Она уже возненавидела этот цветочный веник с луговым разнотравьем, зачем только купила?

Мама выглядела прекрасно. Впрочем, Оля никогда не сомневалась в том, что мама будет выглядеть прекрасно в любом возрасте. Даже столетний юбилей справит королевой! Лилия рядом с ней, как тень или отражение. Капризные гены повторились в ней полностью, будто бы не участвовал в этом проекте ни Илья, ни папаша-трубач... Еще одна Татьяна, точный слепок «чистой прелести», как же Оля ненавидела свою мать! Ни счастливое замужество, ни рождение Лилии, ни собственный возраст так и не смогли примирить ее с Татьяной, и вот теперь ей приходится сидеть в душном зале провинциального театра и видеть, как свершается очередной материнский триумф.

Лилия, видите ли, устала от постоянного контроля, который Оля учинила после смерти отца. Дочь хотела начать новую жизнь и, наплевав на

Мариинку (кто в здравом уме будет менять ее на заштатный театр провинциального города?), на родную мать, на могилу отца (Оля не стеснялась в выражениях), отправилась на поиски незнакомой бабушки. Слава Богу, Лилии хватило ума не отказываться от квартиры, которая все эти годы ждала возвращения кого-то из Федоровых. Если бы Лилия жила с Татьяной, Оля не вынесла бы.

А может, и вынесла бы. Как будто у нее был выбор или ее кто-то спрашивал! Илья умер, и все сразу переменялось – так меняют декорации в дорогих театрах, полностью избавляясь от прежней обстановки. Оля надеялась, что в наследство ей достанутся журнал и издательство, но Илья ограничился счетом в банке, квартирой, машиной и дачей. Дело он оставил своему петербургскому партнеру, с которым Оля даже здоровалась не без усилий, но этот партнер еще на поминках сказал Оле, что по завещанию часть имущества Илья отписал какой-то пожилой даме, а та от наследства отказалась.

«Оля сильно изменилась, я не могу понять, кто это живет со мной, – писал Илья Татьяне. Валя читала старые письма в примерке, за час до выхода. Изольда сидела рядом и плакала всухую, чтобы не размазать грим. – Если бы ты знала, как я жалею теперь о том, что не послушал тебя. Прости меня, я все испортил, все убил».

Яблочное дыхание превратилось в табачный смрад, Оля резко похудела и побледнела, как будто загримовалась для сложной роли. Работать



и учиться она не пожелала, вначале сидела дома, а потом посвятила всю себя задаче отравить Илье жизнь – пропитать ядом до самых основ.

«Разводись», – советовала в письмах Татьяна, но эта дверь была закрыта, Оля несколько раз вскрывала себе вены, лишь только Илья пытался ослабить брачные узы. Спасти удавалось в последнюю минуту.

Оля подняла букет к лицу, уткнулась взглядом в толстые белые шрамы на запястье, они походили на опарышей. Ничего в своей жизни она не совершила для радости или по собственному желанию, все было только для того, чтобы отомстить матери. Лилия, выросшая в доме, до последнего сантиметра пропитанном ядом, вскормленная ненавистью ко всему миру, только она мирила Олю с жизнью. Может, дочка сумеет ее простить? Как сама Оля все-таки смогла простить Татьяну, а ведь ей приходилось намного сложнее. Олю мать вообще не замечала, подсунули бы ей другую девочку, не хватилась бы.

Горячие слезы стекали в букет. Скорее бы Татьяна дописала свое письмо, так хочется еще раз увидеть мать и Лилию.

Дирижер взмахнул палочкой, как волшебник, и на сцену наконец-то вышел хор. Согрин впился взглядом в Татьяну, очки запотели от слез... Неужели это так просто? Неужели все годы любимая ждала его здесь, одинаково верная ему и своему

искусству? Согрин отмахнулся от прозрачной слезной краски и вдруг заметил рядом с Татьяной другую женщину. Она была немолодой, но она-то и была подлинной Татьяной, как же он раньше не понял! Две хористки, молодая и старая, пели, стоя рядом, и растерянный Согрин переводил взгляд с одной на другую. Рядом в кресле всхлинула соседка с букетом, и Согрин узнал в этой крупной крашеной даме девочку Олю из десятого класса. Эта бывшая девочка рыдала во весь голос, так что Веранда несколько раз обеспокоено смотрела на нее из царской ложи.

В антракте Согрин не смог подняться с места, и они с Олей вдвоем сидели в опустевшем зале, разглядывая оставленные в яме инструменты.

– Вы меня помните? – спросил Согрин у Оли, и она повернула к нему невидящие красные глаза.

Все краски, что приходили в эти годы к Согрину, вдруг соединились вместе, как мелкие стежки вышивки превращают нитки в рисунок, так и краски Согрина сложились вдруг в картину, портрет трех женщин – юной, зрелой и старой. Каждая из них была Татьяной, каждую Согрин видел, знал и любил... Портрет был почти готов, оставалось всего лишь нарисовать его.

Согрин слышал громкое пение красок, каждая из которых наконец-то нашла свое место, и понял, зачем все это было нужно, зачем требовался каждый час его жизни.

Дирижер повернулся в зал для поклона и, глядя прямо в глаза Согрину, превратился в ангела. Фрак с бабочкой были этому ангелу явно не к лицу, и почему Согрин вообще решил, что это был ангел? Как отличить ангела от беса, талант от бездарности, любовь от похоти, а доблесть от греха?

Еще секунда, и картина развалится на миллиарды мелких беспомощных красок, Согрин удерживал ее в памяти последними усилиями. Он больше не мог ждать. Татьяна никуда не денется, но что если он не донесет до мольберта картину?

Ангел еще раз оглянулся, кивнул и пропал навсегда.

Когда выходили кланяться, Коля Костюченко подхватил Валю на руки и усадил к себе на шею, как первоклассницу на школьной линейке. Люди в зале стоя хлопали маленькой солистке так ритмично, будто ими кто-то дирижировал... Веранда вытащила полусонного мэра на сцену, чтобы он поприветствовал зал. Татьяна взяла Лилию за руку и увидела в третьем ряду заплаканную женщину с букетом. Рядом с женщиной было пустое кресло – единственное в зале. Вокруг витал неизвестно откуда взявшийся запах масляных красок.

«Как звали того художника? – спросила себя Татьяна. – Разве это возможно, так сильно любить человека, а потом начисто забыть его имя?»

Она сегодня же попросит Валу больше не звать ее Изольдой. Татьяна не хотела забыть еще и свое имя...

И все же как его звали?

Может, у него вообще не было имени?

Вечером сидели в буфете, отмечая успех. Валя пыталась стереть со щеки малиновый отпечаток Верандиных губ. Глухова застыла в дверях с бокалом шампанского. Шарова приставала ко всем с бутербродами, главреж и Голубев взахлеб обсуждали американскую гастроль. Татьяна, глядя на дочь и внучку, представляла себя в виде трех женщин – молодой, зрелой и старой. Эти три женщины мирно сидят за столом, юная Татьяна приглядывается к Татьяне зрелой, а Татьяна старая безотрывно смотрит на молодую.

Костюченко заплетающимся языком произнес витиеватый тост в Валину честь. Леда держала в одной руке сухую ладонь Голубева, а в другой – почти такую же сухую копченую куриную ногу. Валя словно бы стала теперь выше ростом, она держала спину прямо, и все смотрели только на нее. И ни один человек не заметил, что Татьяна давно уже стоит, прижавшись щекой к прохладному окну. За стеклом летел разноцветный снегопад, миллионы красок сыпались с неба и уносились вниз по проспекту. Люди уворачивались от яркого дождя, закрывали руками лица, ветровые стекла машин превращались в палитры, кошки пытались вылизать заляпанные цветными пятна

ми шкурки. Вот синяя краска потекла по стеклу гримерки, густая и яркая... «Моя любовь синего цвета», – когда-то давно говорил тот художник. Татьяна закрыла глаза и вспомнила наконец его имя. И тут же окно раскрылось, цветные краски закрыли ей глаза липкими ладошками, и громко закричала Валя, и пустая бутылка скатилась со стола, гремя, как колокол.

Татьяна летела над городом и видела строгую геометрию улиц, раскрашенных мелкой цветной крапью. Она летела, как в том давнем сне, поднимаясь все выше, и громко пела, потому что знала, что только голос не дает ей упасть. А краски падали вниз одна за другой, и вокруг застывала черно-белая фотография: ночное небо, выцветшие звезды, и вскоре Татьяна осталась наедине со своим голосом, что звучал все громче. И она догадалась, кому будет теперь отвечать, и твердо знала, о чем ее спросят.

## Содержание

### ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ (*повесть*)

Картина первая.....	7
Картина первая, продолжение.....	9
Картина вторая.....	13
Картина третья.....	17
Картина четвертая.....	21
Картина пятая.....	25
Картина шестая.....	30
Картина седьмая.....	33
Картина восьмая.....	36
Картина девятая.....	39
Картина десятая.....	42
Картина одиннадцатая.....	45
Картина двенадцатая.....	48
Картина первая.....	51

### НАЙТИ ТАТЬЯНУ (*повесть*)

<b>Часть первая</b> .....	55
Глава 1. Трубадур.....	55
Глава 2. Искатели жемчуга.....	61
Глава 3. Пробный камень.....	64
Глава 4. Дитя и волшебство.....	70
Глава 5. Что прилично и что неприлично в театре.....	76

Глава 6. Сначала музыка, потом слова .....	80
Глава 7. Мнимая простушка.....	85
Глава 8. Пророк.....	91
Глава 9. Белая дама.....	95
Глава 10. Дочь полка.....	101
Глава 11. Школа влюбленных .....	105
Глава 12. Богема .....	110
Глава 13. Любовный напиток.....	115
Глава 14. Представление о душе и теле .....	119
Глава 15. Директор театра.....	123
<b>Часть вторая .....</b>	<b>127</b>
Глава 16. Сила судьбы.....	127
Глава 17. Человеческий голос.....	133
Глава 18. Сомнамбула .....	138
Глава 19. Битва при Леньяно .....	142
Глава 20. Умница.....	148
Глава 21. Так поступают все женщины.....	156
Глава 22. Фаворитка .....	161
Глава 23. Летучий голландец.....	166
Глава 24. Хорошая дочка .....	172
Глава 25. Орлиное племя .....	178
Глава 26. Опера нищего .....	183
Глава 27. Огненный ангел .....	187
Глава 28. Рафаэль .....	191
Глава 29. Девушки на галере .....	198
Глава 30. Евгений Онегин.....	207

Директор издательства *Ольга Тублина*  
Коммерческий директор *Виктор Кузнецов*  
Главный редактор *Павел Крусанов*  
Главный художник *Александр Веселов*

**Анна Матвеева**

**ПРИЗРАКИ ОПЕРЫ**

Редактор П. Крусанов.  
Художественный редактор А. Веселов.  
Корректор А. Данилова.  
Компьютерная верстка О. Леоновой.

Подписано в печать 12.05.2015. Формат 84×108/<sub>32</sub>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл.печ.л. 23,52. Тираж 2000 экз. Заказ 3324

ООО «Издательство К. Тублина».  
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14.  
Тел./факс (812) 712-67-06, 712-65-47.  
Отдел маркетинга: тел. (812) 575-09-63,  
факс (812) 712-67-06.

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в АО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



**Информацию о книгах нашего издательства  
вы можете найти на сайтах  
[www.limbuspress.ru](http://www.limbuspress.ru)  
[www.limbus-press.ru](http://www.limbus-press.ru)**

# ЛИМБУС ПРЕСС

---

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

*Сергей Носов*

## ФИГУРНЫЕ СКОБКИ

Прозаика и драматурга Сергея Носова не интересуют звоны военной меди, переселения народов и пышущие жаром преисподни трещины, раскалывающие тектонические плиты истории. Носов – писатель тихий. Предметом его интереса были и остаются «мелкие формы жизни» – частный человек со всеми его несуразностями: пустыми обидами, забавными фобиями и чепуховыми предрассудками. Таков и роман «Фигурные скобки», повествующий об учредительном съезде иллюзионистов, именующих себя микроагами. Каскад блистательной нелепицы, пронзительная экзистенциальная грусть, столкновение путейших амбиций и внезапная немота смерти – смешанные в идеальной пропорции, ингредиенты эти дают точнейший слепок действительности. Волшебная фармакопея: не фотография – живое, дышащее полотно. Воистину Носов умеет рассмешить так, что начинаешь пугаться своего смеха.

**WWW.LIMBUSPRESS.RU**

---

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

тел. (812) 575-09-63

факс (812) 712-67-06

# ЛИМБУС ПРЕСС

---

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

*Дмитрий Долинин*

## ЗДЕСЬ ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ

Дмитрий Долинин – живая легенда «Ленфильма», он был оператором-постановщиком таких лент, как «Республика ШКИД», «В огне брода нет», «Начало», «Собака Баскервилей»... При этом уже много лет Долинин пишет прозу. Его герои – как наши современники, так и ожившие тени прошлого – обычные люди, погруженные в поток жизни, который на глазах становится историей.

Повести Долинина рассказывают о самом главном, болезненном для нашей памяти, переломе в русской истории – Первой мировой и последовавшей за ней революции. Жизнь накрепко спаяла настоящее с прошедшим, так что без крови их друг от друга не оторвать. Да и нужно ли? Вихри тех событий, вновь и вновь осмысляемые русской литературой на протяжении почти целого столетия, забросили под чужое небо миллионы людей. Но и над теми, кто в России остался, небо навсегда стало другим.


**WWW.LIMBUSPRESS.RU**

---

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

тел. (812) 575-09-63

факс (812) 712-67-06



Анна Матвеева обладает редким в нашей литературе даром: она – рассказчица историй, которые невозможно не дочитать до конца. Все хорошие истории плохо кончаются, но здесь между началом и концом так много любви и радости жизни, что мы, в отличие от героев ее прозы, никогда не остаемся в проигрыше.

**Леонид Юзефович**

Анна Матвеева не подвержена розовым грезам, многословью, тяге к затейливым финтифлюшкам и ненавязчивой телесности. Но эта проза словно кружится в танце – кокетливая, переменчивая, артистичная...

**Алексей Иванов**

**16+**



НЕЗАВИСИМЫЙ  
АЛЬЯНС

ISBN 978-5-8370-0694-4



9 785837 006944

[www.limbuspress.ru](http://www.limbuspress.ru)